

Э. ЭКШТЕЙН А. РАМБО

НЕРОН



КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ

Коллекция исторических романов (Вече)

Альфред Рамбо
Нерон (сборник)

«ВЕЧЕ»

1889

Рамбо А.

Нерон (сборник) / А. Рамбо — «ВЕЧЕ», 1889 — (Коллекция исторических романов (Вече))

ISBN 978-5-4444-8548-4

«Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн», – так считала мать Нерона, пытавшаяся во всем контролировать будущего императора. Но юноша не слушался. Он любил петь и сочинять стихи, ему больше нравилось прощать преступников, чем их казнить. Что же так изменило душу философа, художника и поэта, толкнув его самого на преступления? Почему все, кто хоть что-то значил для Нерона, вмиг оказались его противниками и заклятыми врагами? Эта книга о противоречивой натуре императора, оставшегося в памяти потомков сентиментальным тираном и поджигателем Рима.

ISBN 978-5-4444-8548-4

© Рамбо А., 1889

© ВЕЧЕ, 1889

Содержание

Эрнст Экштейн. Нерон	6
Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	11
Глава III	15
Глава IV	22
Глава V	28
Глава VI	32
Глава VII	36
Глава VIII	42
Глава IX	50
Глава X	54
Глава XI	60
Глава XII	64
Глава XIV	70
Глава XV	75
Часть вторая	79
Глава I	79
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Эрнст Экштейн Нерон (сборник)

© ООО «Издательство «Вече», 2014

* * *

Эрнст Экштейн. Нерон

Часть первая

Глава I

Три солдата римской городской префектуры вели по Кипрской улице пленника. Молодому человеку двадцати трех лет был вынесен смертный приговор: рука палача должна была обезглавить его, а затем закопать на выгоне, где погребали преступников.

Прохожие, встречавшие конвоиров и их жертву, останавливались и смотрели им вслед. Бледное, но, однако, решительное лицо несчастного возбуждало участие к нему даже в легкомысленных римлянах. Казалось, внезапное сострадание овладело этим народом, на глазах которых каждый год тысячи гладиаторов истекали кровью и умирали на арене цирка и который считал лучшей на свете музыкой предсмертные хрипы жертв. Женщины особенно сокрушались о красивом Артемидоре. Правильные, словно высеченные из мрамора черты лица, темные, мечтательные глаза с черными ресницами, благородный лоб и роскошные волосы – все в нем напоминало величавого Нехо, жреца бога Пта, очаровывавшего знатных римлянок как своим прорицательским искусством, так и своей привлекательной наружностью.

Артемидор был также уроженец Востока. Он родился в далеком Дамаске, был куплен в Иерусалиме сенатором Флавием Сцевином и вместе с ним прибыл в семихолмный город. Скоро получив свободу, он служил своему бывшему господину казначеем, чтецом и библиотекарем и сделался уже почти его доверенным во всем, когда внезапно неожиданный переворот разрушил мирное течение его жизни и бросил его во власть ищеек.

Чем ближе становилась плаха, к которой солдаты вели юношу, тем медленнее и тяжелее двигался он, и начальник конвоя должен был не раз обращаться к нему со строгими упреками.

Был чудный октябрьский день. Рим казался плавающим в жидком золоте. Красная листва винограда, с видневшимися из-под нее темными гроздьями, одевала стены садов или вилась вокруг развесистых вязов. Улицы дышали весельем и свежестью. Мужчины, приободрясь, расправляли плечи, а женские лица сияли особенной красотой и привлекательностью.

Так по крайней мере казалось бедному осужденному, который скоро должен был расстаться с этим прекрасным миром.

Куда девалось его равнодушие к смерти, еще так недавно наполнявшее его сердце, подобно предвкушению лучшего, недоступного человеку бытия?

Взглянув на колеблющиеся от ветерка пурпурные лозы, он вспомнил красивую девушку, стыдливо зардевшуюся, когда однажды он украшал ее таким венком в блаженном уединении тенистого парка, принадлежавшего его господину.

– Хлорис! Хлорис! – со страстной мукой вздохнул он.

Какое несчастье, что образ возлюбленной предстал перед ним как раз в то мгновение, когда он нуждался в непреодолимой силе духа и презрении к жизни, чтобы показать, с какой радостью и светлой надеждой последователь Сына назарянского плотника идет по стопам своего Спасителя.

Как ни старался он забыть о прошлом, оно вставало перед ним во всем блеске минувшего счастья.

Он увидел Хлорис лишь несколько недель тому назад в доме Кая Кальпурния Пизо, где она играла на девятиструнной гитаре и пела радостную любовную песнь Алкея. Это было ее

первое появление в полной опасной столице и в то же время ее первый триумф. Все рукоплескали ее мастерской игре и чудному голосу.

Находившийся в свите своего господина, Флавия Сцевина, Артемидор был очарован и с этого мига мысль о ее любви не покидала его.

Но рядом с этой мыслью, у него возникла другая, более возвышенная: спасение ее души! После незабвенного мгновения, когда он впервые поцеловал ее уста, в нем возгорелось страстное желание спасти погибавшую. В глазах верующего юноши она должна была погибнуть, если ему не удастся просветить ее небесной истиной, открытой Иисусом Христом.

И Артемидор с таким же рвением старался овладеть ее душой, с каким он раньше добивался ее сердца.

К сожалению, его усилия были напрасны.

Хлорис знала жизнь только с ее лучшей стороны. Мир представлялся ей душистым увеселительным садом, предназначенным исключительно для счастья и наслаждений. Верная своей природе, гречанка пугалась всего сурового и мрачного; учение Христа, требовавшее воздержания, отречения от земных благ, было недоступно ей, проникнутой лучезарным культом древнегреческих богов. Прекрасная певица пожимала плечами, улыбалась, наконец, объявила Артемидору, что он ей надоел и, после долгого неприятного спора, на все его доводы решительно произнесла с насмешкой: «Никогда!»

После этого «никогда», он в гневе оставил возлюбленную. Гнев его был направлен не на нее, – ведь она неповинна в том, что злой дух так опутал ее безрассудное сердце, – но на коварство старых богов, сохранивших еще такую власть даже над самыми чистыми и благороднейшими из смертных, несмотря на пришествие Спасителя.

Вот что было причиной его осуждения на позорную смерть: обвинение в хуле на государственную религию...

Но, быть может, постигшее его несчастье было наказанием, ниспосланным на него единым истинным Богом? Быть может, Он хотел уничтожить его за упорство в любви к насмешливой Хлорис?

Все эти мысли беспорядочно толпились в его мозгу и, задыхаясь, он боролся с охватившими его чувствами. Он попытался молиться.

– Блаженны гибнущие за учение Христа, – дрожащими губами прошептал он и замолк.

Солнечные лучи золотым потоком заливали дорогу, в лицо ему пахнул благоуханный ветерок и, громче всяких спасительных истин, в замиравшем от страха сердце его раздался вопль:

– Горе твоей цветущей юности!

Сияющая вокруг него теплом и жизнью природа еще сильнее обостряла сознание грядущей участью.

«Умереть так, вдали от нее!... – непрерывно проносилось в его пылающей голове. – Вдали от нее, вдали от нее!..»

Да, неумолимое Божество осудило его на величайшую из земных мук – глубокое отчаяние. Если бы он мог взглянуть в последнюю минуту в глаза возлюбленной, какое это было бы утешение! Но умереть так, – значило умереть еще заживо!

«Вдали от нее! – звучало кругом него. – Вдали от нее!» Колени его подкосились и в глазах потемнело.

– Не шатайся! – сказал начальник конвоя. – Если уж ты должен умереть, то умри как мужчина!

Артемидор взял себя в руки. Слабость его прошла. Он перевел дух и спокойно и твердо пошел дальше.

Конвой свернул влево, по юго-восточному направлению от Кипрской улицы, и здесь их окружила такая густая толпа мужчин и женщин, по большей части бедно одетых, что стражники вынуждены были остановиться на несколько минут.

– Артемидор! – со всех сторон раздались голоса. – Будь тверд, Артемидор! Прощай, Артемидор! Не забывай твоих друзей! Молись за нас перед престолом Всевышнего!

Иные хватали связанные руки юноши и целовали их, другие торжественно затягивали жалобные гимны, в которых имя Иисус произносилось с особенным чувством.

Сквозь толпу протеснился высокий и худой пятидесятилетний человек, широкое, блестящее золотое кольцо которого выдавало его принадлежность к благородному сословию.

– Позволишь ли ты мне, – обратился он к старшему конвойному, – прежде чем свершится судьба, еще раз обнять осужденного?

Солдат нахмурился. Такое множество сочувствующих Артемидору, очевидно, внушило ему некоторое сомнение, и он не осмеливался грубо отказать этому мрачному человеку с величаво и грозно закинутой за плечо тогой.

– Поторопись! – нерешительно отвечал он. – Хотя я сотворен не из камня и железа, но если префект узнает об этом, мне будет худо.

– Никодим! – прошептал Артемидор, в то время как друг целовал его в лоб. – Какая страшная участь!

– Мужайся, сын мой! Будь тверд до конца! Твой поступок, может быть, безрассуден и опрометчив, но он тем не менее благороден. Счастливая юность не знает, что спокойная рассудительность ведет к цели гораздо вернее, нежели гнев и увлечение!

– Ты прав, – отвечал Артемидор. – Вы все смотрели в будущее с такими радостными надеждами, что, быть может, мне, как одному из младших, не подобало это... Но Хлорис, заслуживающая ненависти, возлюбленная Хлорис всему виной с ее ужасным неверием. Я почти лишился рассудка. Все мои убеждения были тщетны! И когда, возвращаясь от нее, я увидел в атриуме отвратительных идолов с их насмешливыми улыбками...

– Молчи! Ты бездумно раздражал римское общество. Здесь никого не оскорбляют за веру. Мы можем и будем тихо и осторожно следовать по пути, ясному для последователей Евангелия. Только без бурь, без насилия! И ты, дорогой Артемидор, был бы участником с таким трудом составленного мной союза. Я не могу утешиться, теряя тебя.

Юноша выпрямился.

– Как? Ты сожалеешь обо мне? Но разве это не высшая божественная милость – победоносно умереть за учение Назарянина?

– Твой пример не пройдет бесследно, Артемидор, – успокоительно прошептал Никодим. – Но ты мог бы жить, жить...

Слова Никодима были прерваны внезапным смятением среди народа.

– Император! – раздались тысячи голосов, и все взоры обратились по направлению Porta Querquetulana, откуда медленно приближались роскошные носилки с пурпуровым балдахином. Их несли на шестах из позолоченного кедрового дерева шестеро рослых, белокурых сигаμβров в ярко-красных одеждах.

Широкие занавеси были отдернуты. На подушках восседала гордая, величественная женщина – Агриппина, мать императора, а возле нее юноша поразительной красоты, с большими, мечтательными глазами и полным, выразительным ртом.

Начальник конвоя вздрогнул, увидев его. Он знал, как неприятны были императору напоминания о всем том, что шло вразрез с его спокойным, ясным характером и в особенности, как его волновали суды и их жестокие последствия.

«Фаракс, ты попался! – сказал себе солдат. – Если префект узнает об этом, твоей спине придется испробовать лозы центуриона! Конечно, это только случайность, но слуга префекта расплачивается и за капризы судьбы...»

– Император! – вскричал Никодим. – Он пройдет в двух шагах от тебя! Проси помилования, Артемидор!

Толпа раздвинулась. Никодим схватил за руку молодую блондинку, с глубоким состраданием смотревшую на осужденного. Девушка вопросительно взглянула на него. В уме Никодима, должно быть, пронеслась блестящая мысль, потому что лицо его озарилось неожиданной радостью, а почти торжествующее выражение губ, казалось, говорило: «Это удастся!»

Наклонившись к девушке, он быстро прошептал:

– Актэ, ты видишь! Само небо указывает нам путь! Если ты еще сомневалась в том, что план мой приятен Господу Иисусу Христу, то эта чудесная встреча должна убедить тебя. Слушай, чего я требую от тебя! По моему знаку ты выйдешь вперед, бросишься императору в ноги и спасешь отважного Артемидора!

– Я сделаю это! – отвечала Актэ. – Молись, чтобы цезарь внял мне!

– Надеюсь на это, – прошептал Никодим. – Только говори так же горячо и искренно, как ты чувствуешь! Ведь тебе жаль цветущей юности, которую безжалостно погубит топор палача?

Актэ молча вздохнула, пристально и робко смотрела она в пеструю толпу.

«Как она прекрасна и молода! – подумал взволнованный Никодим. – Другой такой нет в целом Риме... Это должно удался, непременно должно!»

– Да здравствует император! – раздавалось все ближе и ближе. К этим крикам теперь присоединились звучные голоса конвойных, римлян и большей части назарян. – Честь и слава императору! Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!

Император сделал знак своим сигамбрам, и носилки остановились. После бури приветственных криков, на которые Нерон отвечал приветливым движением руки, наступило полное безмолвие.

– Вот несчастный! – обратился он к Агриппине. – Позволишь ли, дорогая мать, спросить у солдат, какое его преступление?

– Делай, как желаешь, – отвечала императрица. – Властителю мира несомненно подобает вникать даже в мелочи, встречающиеся на его пути.

– Мелочи? – усмехнулся Нерон, смотря в глаза матери. – Человек в цепях; на его лице отразились страдание и отчаяние... Нет, дорогая мать, ты говоришь так не от сердца! Неужели достоинство императора требует такого же невнимания к несчастью его подданных, какое можно оказать участи вот этой розы, падающей из твоих прекрасных волос?

И изящным жестом он поправил цветок, выскользнувший из-под блестящей диадемы, которая удерживала огненно-красное покрывало Агриппины.

– Кого ведете вы и в чем провинился он? – благосклонно продолжал Нерон, обращаясь к начальнику конвоя.

– Повелитель, – ответил солдат, – это отпущенник Флавия Сцевина.

– Как? Нашего друга, вечно юного сенатора?

– Его самого.

Нерон пристально посмотрел на юношу, стоявшего с опущенными глазами.

– В самом деле, я узнаю его... Это Артемидор, который однажды в парке развертывал перед нами рукописи Энния... Флавий Сцевин так расхваливал тебя, твои качества и ум. А теперь я не понимаю!

– Повелитель, – снова заговорил солдат, – он осужден законом. Один из рабов застал его поносящим домашних богов и затем свергнувшим их с цоколей.

– Артемидор, – обратился Нерон к юноше, – правда это?

Осужденный поднял свое прекрасное, бледное лицо с лучезарным взглядом.

– Да, повелитель, – твердо отвечал он.

– Знал ли ты, – со спокойной строгостью продолжал император, – что оскорбление домашней святыни наказывается смертью?

– Смертью, в смысле закона – да!
– Что же побудило тебя презреть этот закон?
– Любовь к истине.
– Каким образом?
– Ваши лары и пенаты ложные божества, я же верую в истинного Бога, о котором учил Иисус Христос.

– Ты назарянин?
– Да, повелитель!
– Это было известно твоему высокому покровителю Флавию Сцевину?
– Да, повелитель!
– Он преследовал тебя за это?
– Нет, повелитель.
– Так веруй во что ты хочешь и предоставь другим веровать, во что они хотят. Согласен ты со справедливостью этого требования?

– Иисус Христос завещал нам распространять спасительное Учение и бороться против ложных богов.

– Пусть так! Борись – но только духом! Можно ли убеждать поднятыми кулаками? И разве брань – философский аргумент? Поистине, ты заслужил твое наказание, Артемидор...

Лицо старшего конвойного выразило огорчение. Он был почти уверен, что Клавдий Нерон своей императорской властью отменит исполнение приговора. В этом случае, лоза цензуриона, естественно, должна была спокойно оставаться в шкафу. Вместо этого, против всякого ожидания, цезарь одобрял и находил заслуженной казнь, казавшуюся варварской и устарелой даже самому Фараксу и его товарищам! Дело принимало неприятный оборот.

Между тем, повинувшись знаку Никодима, из толпы стремительно выбежала Актэ и упала на колени перед носилками императора. С невыразимой грацией подняв цветущее личико к властителю мира, она воскликнула, вложив в свою мольбу все чары женского обаяния:

– Помилования, повелитель! Помилования моему брату!

Молодой император с изумлением и удовольствием смотрел на стройную фигуру девушки, устремившей на него страстно молящий взгляд. Сама императрица-мать не могла подавить мимолетного сочувствия к ней, и на суровом, гордом лице ее мелькнула мягкая улыбка.

– Я так и думал, – сказал тронутый император. – Тот, у кого есть такая прелестная сестра, может поступать дурно вследствие необдуманности или заблуждения, но не может быть дурным человеком.

Он забылся на несколько мгновений, наслаждаясь ее красотой, а потом, схватив руку Агриппины, заговорил с пафосом театрального актера:

– Третьего дня был день твоего рождения! Я обыскал всех ювелиров среди двух миллионов населения этого города, чтобы создать нечто, достойное тебя! Но нашел одну лишь эту жалкую диадему. Драгоценная сама по себе, она все-таки давит твою божественную голову подобно обручу из коринфского металла. Теперь судьба посылает мне высший дар! Во славу твоего дорогого имени, возлюбленная мать, я пользуюсь своим правом освобождения и прощения.

Он приказал конвойным подвести осужденного к носилкам, между тем как Актэ удалилась, бросив на императора горящий, полный признательности взгляд.

– Ты слышал, – произнес Нерон, – я дарую тебе помилование! Отведите его обратно в дом Флавия Сцевина и передайте о происшедшем моему превосходному другу! Скажите, что я прошу его посадить преступника в заключение на восемь дней. Тебе же, юноша, советую быть благоразумнее и осторожнее! Повторяю: если римские боги кажутся тебе призраками,

то поклоняйся Изиде или Гору, или кому знаешь, но обуздай твой невоздержный язык и не оскорбляй чувств квиристов!

Губы юноши дрогнули, будто, несмотря на милость императора, он все-таки хотел возражать ему, но сдержавшись, он скрестил на груди руки и едва слышно произнес:

– Благодарю, повелитель.

Солдаты префекта с обрадованным Фараксом во главе, тотчас сняли с него цепи. С этой минуты с ним начали обращаться вежливо и почтительно, и Фаракс поздравил его крепким рукопожатием.

В доме Флавия Сцевина освобожденный встретил восторженный прием: весть о милости к нему императора еще раньше долетела сюда. Сцевин лично принял его в остиуме. Раб же, с такой поспешностью донесший о неосторожном поступке Артемидора, уже за несколько дней перед тем был подарен кому-то впавшим в глубокое огорчение сенатором.

Глава II

Императорские носилки двинулись дальше среди восторженных криков толпы.

Нерон и Агриппина возвращались из дома Афрания Бурра, начальника преторианской гвардии, некоторое время страдавшего лихорадкой. По отзыву врача, болезнь была не опасна, но влиятельному префекту гвардии следовало оказывать особенное внимание.

Когда носилки и их военная свита покинули Кипрскую улицу, мысли императрицы снова обратились к больному Бурру.

Ее мучило тайное недовольство: чем более она убеждалась в народной любви к некогда обожаемому ею сыну, тем сильнее пробуждалась в ней ревность к столь опасному сопернику. Она старалась освободиться от гнета опасений, думая лишь о том, что могло бы возвратить ей обычную самоуверенность. Начальник гвардии Бурр и бывший воспитатель Нерона Сенека до сих пор с непоколебимой верностью поддерживали ее, когда дело шло о руководстве молодым императором, о ведении государственных дел в ее духе и о внушении ее сыну, что она, Агриппина, есть первое лицо империи, он же, – только второстепенное, на основании естественного закона сыновнего долга.

И если, таким образом, Бурр был ее мечом, а Люций Анней Сенека – щитом, то к чему ей тревожиться из-за ропота или одобрения народа? Что ей за дело до темных, тайных слухов, которые, – она чувствовала это так же, как чувствуют взор враждебного наблюдателя, – повсюду переходили из уст в уста? Лучшего префекта, чем Бурр, она не могла желать: он восторгался ее красотой, был признателен за каждую милостивую улыбку, ибо более всего был поглощен сознанием своего долга и заботами о общем благе. При этом, он понимал, что опытная, способная женщина принесет государству больше пользы, чем едва созревший, мечтательный юноша...

– О чем ты задумалась, мать? – спросил император по-гре-чески. – Ты не примечаешь поклонов сенаторов...

– В самом деле? Я не видала никого...

– Нам встретился Тразеа Пэт со многими клиентами. Я кивнул ему; ты же не только не ответила на его привет, но даже как бы намеренно скрылась за занавеской.

– Тебе так показалось, – возразила Агриппина. – Хотя та рассеянность прощительна матерям, непрерывно занятым благом своих сыновей. Я думала о твоей будущности и, сказать правду, она сильно заботит меня.

– Заботит? Почему? Разве у ног моих не лежит цветущий мир? Разве я не цезарь? Да, клянусь этим ясным небом, я могу разлить счастье до самых отдаленных стран, до тех пределов, где в море еще белеет римский парус! Народ мой любит меня! И сейчас, слышала ты, как из тысячи уст, подобно горному потоку, вырвался оглушительный благодарственный клик?

«Да здравствует император!.. Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!» О, мать, для меня эти клики звучат подобно праздничной песни бессмертных богов!

Агриппина, вспыхнув, медленно покачала величественной головой.

– Тем не менее я озабочена, мой мальчик. Ты кажешься мне слишком мягким, слишком уступчивым для ужасной обязанности цезаря. Твой невинный взор не примечает страшного коварства, таящегося кругом в закоулках отвратительной зависти. Ты должен с ранних лет править с подобающей суровостью. Хороша народная любовь, но страх народный еще лучше и вернее. В этом, как и в других важных вопросах, доверься моей искушенности! Допусти меня действовать, когда я нахожу это благоразумным! Думаешь ли ты, что так почтительно преклоняющиеся перед твоим величием сенаторы действительно проникнуты им? О, как мало знаешь ты римских аристократов! Они думают: Нерон – цезарь только по нашей милости! И если они замыслил мятеж и тому представится случай, они свергнут тебя так же, как перед тобой свергли Клавдия!

– Клавдия? – с изумлением повторил император.

– Да, твоего отчима, моего высокого супруга. Его отравили члены верховного совета.

– Сенека рассказывал мне другое, – возразил Нерон.

Агриппина побледнела, но внешне сохраняя спокойствие, спросила:

– Это любопытно. Тогда, как тебе известно, сенат воспретил всякое расследование, и одно это...

– Расследование было бы бесполезно, так как отравителя нельзя было обличить. Неужели ты в самом деле не догадываешься?..

Императрица затрепетала.

– Нисколько не догадываюсь, – отвечала она, закрывая глаза.

– Так тебя щадили, – продолжал Нерон. – Преступление совершено личным врагом Клавдия, отпущенником Евтропием.

– Это мне известно, – прошептала Агриппина, – но я полагала, что он был лишь орудием гораздо более высоких лиц.

– Нет! Император Клавдий пригрозил привлечь его к ответственности за многочисленные кражи и преступник поспешил предупредить своего судью. Он исчез бесследно раньше, чем его могли схватить. Но оставим этот грустный предмет. Припоминая предостережения Сенеки, я вижу, что вовсе не должен был касаться его.

Он задернул занавеску, как бы желая защитить чувствительную страдальницу от слишком яркого света. Потом, нежно положив голову на плечо матери, глубоко вздохнул и внезапно спросил ее:

– Как понравилась тебе белокурая девушка, просившая помилования отпущеннику Флавия Сцевина?

– Я не обратила на нее внимания.

– По-моему, она очаровательна! Это детски невинное лицо, эти чудные глаза! Она немного напомнила мне статую Психеи в Акеронии, но в тысячу раз красивее и живее!

– Твои слова звучат вдохновенно. К сожалению, этот тон удается тебе только там, где он не совсем уместен. Если бы ты хоть на половину восхищался так Октавией!

– Мать, я всегда был тебе покорным сыном, и теперь я послушаюсь тебя, тем более, что и покойный супруг твой желал этого союза...

– Послушаюсь! Точно это наказание – жениться на знатнейшей и прелестнейшей девушке столицы!

– Для других, быть может, это было бы неизмеримое счастье, – сдержанно произнес император. – Я не оспариваю ее достоинств, но не умею оценить их. Октавия слишком совершенна для меня.

– Неужели ты уже дошел до этого своим умом? Тебе, конечно, нравилась бы больше цветочница из Аргилета или порхающий мотылек вроде арфистки Хлорис, которой недавно вы расточали такие преувеличенные похвалы? Вас всегда тянет туда, где не обойтись без грязи, как утверждает Энный.

– Не будем ссориться, дорогая мать! Я женюсь на Октавии, буду уважать ее и обращаться с ней сообразно ее положению. Но любить ее меня не могут принудить сами бессмертные боги. Эрос не является по приказанию: он приходит без зова и часто как раз туда, откуда рассудок должен был бы изгнать его. Для него добродетель и высокие качества не имеют значения. Рабыням случалось возбуждать большую страсть, чем принцессам и, как уверяет Сенека, высшее право при этом всегда принадлежит рабыне.

– Пустяки!

– Не пустяки, позволь тебе сказать! В этом случае рабыня представляет собой выражение воли природы; природа же правдивее и искреннее человеческих условностей.

– Так Сенека и этому учит тебя? – с досадливым смехом спросила Агриппина. – Прекрасно! Кажется, своей блестящей теорией он совершенно разбивает мой практический опыт.

– Ты несправедлива к нему. Подобные размышления лишь при случае он присоединяет к разъяснению трагедий. Но нет ни малейшего повода сердиться. Мое сердце свободно. Благодаря моему превосходному воспитателю, я научился воздержанию. Разгул друзей всегда служил мне лишь предметом наблюдений. Я никогда не любил и даже сомневаюсь, способен ли к любви. Тем не менее повторяю тебе, что я отнесусь к нашей Октавии со всей нежностью, на которую имеет право супруга императора. Довольна ли ты, мать?

– Не совсем. Меня огорчает это равнодушие. Октавия создана для тебя. Ее ясное, неподкупное суждение будет большой подмогой мечтателю, ежечасно рискующему забыться в философских размышлениях или в водовороте художественной фантазии. Тебе известен мой образ мыслей. Стоя – прекрасная школа, но она не должна истощать наши силы. Искусство имеет пленительную прелесть, но цезарь не должен превращаться в художника. Мечтай, но не забывай жизни! Строй театры, покровительствуй модным поэтам, бросай деньги, как овес, под ноги певцов и музыкантов, но сам не сочиняй и не декламируй! Не пой, подобно изнеженной девочке! Предоставь струны певцам! Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн. Вот мой взгляд на предмет, и Октавия будет влиять на тебя именно в этом направлении.

Нерон улыбнулся.

– Ты мне совершенно напомнила те дни, когда еще драла меня за уши после моих шалостей в Субуре с сыновьями пекарей и харчевников!

– Уж не хочешь ли ты запретить мне порицать выращенного мной сына? – с раздражением спросила Агриппина. – Кто сделал тебя тем, что ты есть? Моя всемогущая рука возвела тебя на престол. Пока ты признаешь это, твой добрый гений будет охранять тебя. Но попробуй возмутиться, и я сомневаюсь, чтобы у тебя хватило силы удержаться на такой головокружительной высоте.

– Ты волнуешься совершенно напрасно. Возмутиться? Ты первая произнесла это отвратительное слово. Я прекрасно знаю, что никого, даже цезаря не бесчестит повинование советам матери. Одного только мне хотелось бы, так как мы уже заговорили об этом, чтобы ты несколько смягчила и умерила форму этих советов. Вряд ли ты могла бы желать, чтобы кто-нибудь имел право посмеяться над чересчур детской покорностью Нерона.

– Я не знаю, какой повод имеешь ты... – начала императрица с гневом.

– Так, так, мать! Но я вижу, тебе тяжел наш разговор. Прекратим его. Напрасно я упомянул об этом. С течением времени все сгладится само собой.

– Но ведь ты видишь, – живо возразила она, – как я далека от личного честолюбия! Иначе, разве я так хлопотала бы о твоей женитьбе? Брак этот, естественно, уменьшит мое влияние. Октавии, как императрице, принадлежит значительная роль, которая...

– Могу себе представить, – усмехнулся Нерон. – Она взором Аргуса будет наблюдать за тем, чтобы никогда и нигде не была пропущена ни одна церемония, несмотря на всю ее нелепость в моем понимании. Она будет требовать, чтобы я каждое утро молился обожаемому Ромулу, чтобы повесил себе на шею амулет с изображением волчицы и голодных близнецов и чтобы я помогал ей верить, когда в каждом событии она будет видеть непосредственное участие Юпитера и его нежной Юноны.

– А если бы она и делала все это, что тут худого?

– Худого? – повторил император. – Ну, я не знаю, что ты думаешь о божественной истории наших предков. Ты никогда не рассказывала мне о них, Даже когда я был еще мальчиком. Полагаю поэтому, что наши взгляды одинаковы.

– А именно?

– Я не верю народным сказкам.

– Да? А чему же ты веришь?

– Разве это можно сказать сразу? Вместе с Сенекой я верю в существование могучей первобытной силы, скрытого, всеобъемлющего и всепроницающего духа. Дух этот живет и в нас; его воля и его чувства – суть наша воля и наши чувства! Но богов таких, каким поклоняется народ, я считаю вымыслом, необходимым для того, чтобы служить основой разрушающейся нравственности нашего общества.

Агриппина долго молчала.

– Знаешь, сын мой, – сказала она наконец, – ты находишься на самом верном пути к государственному преступлению, в точно таком же роде, как преступление только что помилованного тобой Артемидора.

Нерон улыбнулся.

– Ты имеешь слишком низкое мнение о моей сметливости. Я умею отделять императора от частного лица. Перед сенатом, конечно, я остерегусь легкомысленно выражать мои философские убеждения. Там я буду говорить о многолюбимой Минерве не хуже глупейшего из глупцов. Но это нисколько не помешает мне находить скучным, если и дома, как муж, я вынужден буду продолжать ту же комедию, и если даже в спальне со мной будет жрица, верящая в воля Европы! Чудесный бог был этот эллинско-римский Зевс, переплывший море с дочерью царя Агенора для того, чтобы произвести на критских лугах Миноса и Радаманта!

Агриппина пожала плечами.

– Верить в Юпитера, как в царя вселенной, и принимать за чистую монету фантазии греческого народного поэта – две разные вещи.

– Истинно верующий верует и в фантазии, – возразил Нерон. – Если бы было иначе, то художественные изображения таких глупых эпизодов считались бы оскорблением божества.

– Боюсь, ты сам стараешься во многом убедить себя, – заметила императрица. – Но впрочем, я благодарю тебя за откровенность. Увы! К чему отрицать? Я вижу, ты сын своей матери. Ты угадал, что боги и мне вполне чужды. Я верю только в один Рок, предначертавший наш жизненный путь с начала до конца. Кроме того, я верю еще и в то, что некоторым избранныкам дается сила украшать этот путь цветами там, где простые смертные находят одно лишь терние. Я верю в силу духа, иногда принуждающего Рок к уступкам. Для этого необходимы ясность и спокойствие ума, умение пользоваться всеми преимуществами и постоянство в преследовании цели. Все эти качества у тебя только в зачатке. Октавия же скоро разовьет их.

– Октавия? Тихая Октавия?

– Она тиха только в твоем присутствии. Самая заурядная девушка и та догадалась бы, что ты не разделяешь ее чувств. Она любит тебя всем сердцем, ты же, несмотря на дружелюбие к ней, еще ни разу не говорил с ней голосом любви. От этого, сын мой, она чувствует себя стесненной, почти уничтоженной. Если бы не боязнь возбудить общее внимание и не надежда победить наконец твою равнодушие, она давно порвала бы все.

– Это было бы самое лучшее! – задумчиво прошептал Нерон.

– Это было бы твоей гибелью! – вскричала возмущенная Агриппина. – Признаюсь, что мне давно уже до муки смертной наскучила твоя ледяная холодность к Октавии. Я требую, чтобы ты переменялся. И так как тебе не удастся роль жениха, то я позабочусь поскорее соединить вас. Быть может, она больше понравится тебе, когда ты будешь обладать ею и вполне узнаешь ее.

– Мать! Ведь мне дан был еще год сроку.

– Это слишком долго!

– Но ты дала слово.

– Я беру его назад. Пожалуй, эту зиму еще ты можешь философствовать и сочинять греческие трагедии. Но как только запахнет весной...

– Тогда придет конец моей весне! – вздохнул император. – Ну, мы еще поговорим об этом!

Носилки остановились перед дворцом.

Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока еще тайном и непризнанном движении, под именем назарянства распространявшемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно несомненно заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и Сенека.

Глава III

Прошла неделя.

В Палатинском дворце только что окончился завтрак.

Агриппина сидела на цветастом диване под деревьями и беседовала с небольшой кучкой избранных, среди которых, по обыкновению, первенствовал государственный министр и философ Люций Анней Сенека, блиставший умом и остроумием. Возле него стоял начальник гвардии Бурр, впервые после выздоровления явившийся во дворец и наслаждавшийся лицезрением императрицы, подобно тому, как слугитель Митры наслаждается сиянием солнца. Тут же находился и племянник Сенеки, юный поэт Лукан, язвительные эпиграммы которого на римских аристократов послужили ему у императрицы лучшей рекомендацией, чем самые усердные похвалы дяди.

Пока Агриппина, окруженная своим двором, очаровывала тех, кто не находил эту вполне расцветшую, гордую женщину чересчур повелительной и мужественной, Нерон, забыв серьезные увещевания своего ученого воспитателя, потихоньку исчез.

В молодом императоре, противореча утонченно воспитанному и проникнутому ученостью Нерону, пробуждался иногда и другой, менее выпяченный человек, который, под влиянием веселого поверенного, Софония Тигеллина, по временам брал верх над первым и делал робкие попытки практического ознакомления с жизнью и ее разнообразными наслаждениями. Софоний Тигеллин из Агригента сделался известен императору в Circus Maximus, как обладатель лучших, всегда побеждавших рысистых лошадей. Нерон пригласил его в императорский пульвинарий, поздравил, и был так восхищен пленительной любезностью блестящего наездника, что между ними скоро завязалась искренняя дружба. Так как Тигеллин прежде уже занимал место сверхштатного военного трибуна, то Нерон сделал его офицером преторианской гвардии и назначил состоять при своей особе. Сенека хотел было воспротивиться этому, потому что тридцатилетний Тигеллин слыл самым отчаянным покорителем сердец во всей

столице, да и вообще внушал к себе очень мало доверия. Но Нерон так напирал на его светские и артистические таланты, что Сенека уступил и только решил с удвоенной бдительностью присматривать за императором.

Софоний Тигеллин впервые пробудил в Нероне склонность к приключениям и, благодаря своей неистощимой изобретательности сумел заставить его перейти от желания к действиям. Императора разбирало иногда страстное желание затеряться в толпе, не будучи узнаваемым, делать занятные наблюдения, подмечать различные сцены и случаи и отыскивать настоящее, неиспорченное человечество. Сначала выходки императора были крайне невинного свойства, и Софоний Тигеллин опасался слишком откровенно играть роль соблазнителя. Он дорого заплатил бы за это, если бы какие-нибудь слухи дошли до Сенеки. Но он твердо надеялся, что со временем все устроится само собой. То, что теперь казалось почти мальчишеством и ребячеством, должно было, несмотря на предостережения Сенеки, постепенно переродиться в безумную жажду удовольствий и наслаждений, а тогда Софоний Тигеллин становился господином положения. Стоя, вытесненная учением жизнерадостного Эпикура; философская мудрость Сенеки, превратившаяся в тяжкое бремя; он, Тигеллин, приветствуемый как желанный избавитель из этого моря принуждения и скуки: вот план, после осуществления которого до высшей власти оставался только один шаг!

Само собой разумеется, что лукавый агригентец держал про себя все свои соображения. Он притворялся слугой юношеских желаний императора, он, Тигеллин, вкусивший всего и еще мальчиком предававшийся необузданному разгулу! Нерон не понимал разницы между ходом своего развития и развитием агригентца, и верил ему. Он считал избалованного, чувственного кутилу таким же свежим, каким был сам. Он позабыл ту безотрадную жизнь, что он вел после смерти своего отца Домиция Аэнобарба до тех пор, пока второй брак Агриппины, на этот раз – с самим императором Клавдием, не сделал его известным всему Вечному Городу. Кроме того, артистической натуре Нерона казалось вполне естественным влечение взора к картине, ума к мысли, а пламенному воображению к приключениям.

Солнце стояло еще высоко над пологой горой Яникула, когда Нерон и Тигеллин, окутанные легкими плащами, вступили на многолюдное Марсово поле.

Десять германцев из гвардии, для избежания всякого подозрения взятые из Палатинума, уже сидели в одной из больших таверн близ Капитолия и пили за здоровье императора и его веселого поверенного красное сигнинское вино.

День был чудный. Складчатое покрывало, накинутое на головы Нерона и Тигеллина, как бы для защиты от солнечных лучей, скрывало их от прохожих, хотя в Риме, где каждый знатный гражданин выходил на улицу не иначе как с более или менее многочисленной свитой, ни одна душа не заподозрила бы в двух одиноких пешеходах таких высоких особ.

Император полной грудью вдыхал теплый, но при этом освежающий воздух. Над гигантскими деревьями, уже покрытыми осенними красками, сияло темно-голубое небо. Ухоженные дерновые лужайки блестели зеленью. Мраморные статуи, бесчисленные роскошные лавки, колоннады и памятники казались залитыми необычайно ясным светом. По главной аллее двигался нескончаемый ряд носилок и пешеходов. Справа и слева, по проезжим путям неслись горячие кони из Каппадокии, узкокопытные скакуны из равнины Гиспалиса и храпящие пони. Кругом на хитро переплетенных дорожках, между лавровыми и миртовыми изгородами, теснилась пестрая толпа всевозможных сословий: тут были сенаторы в тогах с пурпуровой оторочкой, окруженные многочисленными клиентами и друзьями; знатные малоазийцы в вышитых золотом химатионах; черноволосые персы в высоких тиарах и искусно расшитых шальварах; цветущие гречанки в желтых диплоидионах; эфиопы и галлы, свободные и рабы, сборщики податей и щеголи, педагоги с их питомцами, торговцы горохом и украшениями, одинаково крикливо предлагавшие свои товары, предсказатели, матросы, солдаты городской когорты и инвалиды.

– Сознаешь ли ты, дорогой цезарь, – начал Тигеллин, – все благоразумие моего совета – жить, следуя влечениям твоего духа, предоставив тяжелые государственные дела этой превосходной чете Диоскуров, Сенеке и Афранию Бурру? Ты молод, цезарь! Ты должен сначала изучить многоголовое человечество, которым будешь управлять во всех его бесчисленных формах!

– Ты прав, Тигеллин, – отвечал император. – В самом деле, что стал бы я делать без Бурра и Сенеки? А главное: что стал бы я делать без тебя? Клянусь Геркулесом, тебе удастся хоть на несколько часов освободить меня из-под ярма моих императорских обязанностей. Я – цезарь, но прежде всего я – человек и повторяю с поэтом: для всего человеческого во мне бьется пламенное сердце!

Они достигли сверкающего мрамором пространства, где помещалась постоянная ярмарка. Всевозможные лавки и панорамы манили народ во все стороны. Площадки для метания дисков и игры в мяч сменялись харчевнями, кабачками с душистыми горами плодов. Дальше, на берегу Тибра, возвышались деревянные помосты, с которых пловцы, побившись об заклад, бросались в подернутую рябью реку. Повсюду разбросаны были тенистые деревья, высокие кустарники, яркие цветочные клумбы и статуи богов.

Цезарь и его спутник остановились перед полотняной, переплетенной серебряными шнурами палаткой египетского кудесника.

Кир – так, судя по надписи на верху палатки, звали кудесника, – только что прибыл из Александрии и уже сделался центром народного интереса.

Небрежно прислонившись ко входу, сидел длиннородый человек, с равнодушной усмешкой смотря на массу толпившегося вокруг него народа.

Вдруг, точно озаренный внезапной мыслью, он поставил шести- или семилетнего ребенка на так называемый магический треножник, покрыл его большой, в рост человека, остроконечной персидской шапкой из бумаги, дотронулся до разукрашенной разными изображениями поверхности шапки своим жезлом из слоновой кости и затем приподнял ее.

К неопisanному изумлению зрителей, ребенок бесследно исчез.

Затем египтянин вошел в палатку, куда двое курчавых эфиопских рабов, со смешными кривляньями внесли вслед за ним треножник с бумажной шапкой.

Народ громко выражал свое одобрение. Нерон также с большим воодушевлением хлопал в ладоши.

– Славный фокус, – тихо сказал он Тигеллину. – Благовоспитанному светскому человеку удивление неприлично; но спрашиваю тебя: имеешь ли ты хоть малейшее понятие, каким образом он делает это чудо?

Тигеллин пожал плечами.

– Если земля не состоит в союзе с этим египтянином, – отвечал он, – и если она втихомолку не раскрывает свои недра, чтобы поглотить ребенка, как некогда отважного Курция, – то я не могу найти объяснения.

На сколоченный помост вышел глашатай в желтой и красной одежде и три раза громко протрубил в свою звучную трубу.

Затем он пригласил благородных квиритов и квириенок не медлить.

– Три сестерция! – оглушительно кричал он. – С вас берут по три сестерция для того, чтобы на целые полтора часа превратить вас в богов. Кир, мой увенчанный славой повелитель, звезда Востока, знаменитость Вавилона, Сузы и Александрии, друг азиатских царей, любимец всех народов от востока до запада приветствует вас и желает знать, предлагал ли вам кто-нибудь что-нибудь подобное за три сестерция? «Нет! – ответите вы. – Это возможно только для несравненного Кира!» Поэтому, опустите руку в складки вашей туники и добудьте жетон из слоновой кости, дающий вам право в течении полутора часов дышать воздухом Олимпа! Когда вторично зазвучит моя труба, бессмертный Кир начнет представление.

Пестрыми группами устремились зрители направо к столам, где трое рослых фризов, также в фантастических костюмах, продавали жетоны из слоновой кости. Нерон и Тигеллин последовали примеру толпы.

Давка была такая, что император скоро был оттеснен от Тигеллина.

– Друг, – по-гречески закричал Нерон через головы спешивших к столу молодых девушек, – если мы разойдемся во время представления, то по окончании встретимся около клена Агриппы.

– Хорошо! – кивнул Тигеллин.

Палатка египтянина была необыкновенно вместительна. Сквозь продольное отверстие сверху в ширину триклиниума сильный свет падал на великолепно убранное помещение. Пол устлан был дроковыми циновками. С перевитых серебром шнуров спускались ковры, которые издали можно было принять за сирийские. Посредине возвышения, отделенного от публики бронзовыми цепями, стоял большой алтарь. Висевший позади него тяжелый занавес из тарентинской голубой шерсти медленно приподнялся, и из-за широких складок торжественно показался маг, между тем как снаружи снова затрубил глашатай.

Нерон – теперь уже намеренно – все дальше отходил от Тигеллина. Он встал впереди, довольно близко к бронзовым цепям и с ожиданием смотрел в блестящие глаза гордого египтянина.

Первое, что маг показал своей публике, был фокус, уже прославившийся в Александрии и называемый «Черная Эвридика». Он дал это имя из известного греческого предания черной голубице, которую он убивал и снова возвращал к жизни.

Пока он на глазах толпы разрывал на части испуганно бившуюся птицу, около императора раздалось тихое восклицание.

Он обернулся.

Позади него стояла та самая белокурая красавица, которая просила его за Артемидора. Странно взволнованному юноше показалось, что он только сейчас увидел всю прелесть этого розового личика. Чудные, полуоткрытые губы, за которыми соблазнительно блестели белые зубки, дышали невинностью, страстью и вместе с тем радостью; выражение изумления и жалость смешивались в ее прелестных детских чертах.

А ее голос!..

В ушах Нерона еще звучало ее восклицание, и им овладело страстное желание заставить ее говорить, несмотря на все чудеса Египта и Вавилона. Тихонько и незаметно подался он назад. Место его было тотчас же занято другим. Он стоял теперь рядом с девушкой и с трепетом прошептал:

– Ты меня знаешь?

– Да, повелитель! – так же тихо отвечала она.

– Не выдавай же меня!

– Как повелишь.

– Ты одна?

Мгновение она колебалась.

– Одна, повелитель, – робко шепнула она.

– Как тебя зовут? – спросил цезарь.

– Мое имя Актэ.

– Родители твои живы? К какому сословию принадлежишь ты?

– Мои родители умерли. Отец был уроженец Медиолана, мать была гречанка. Оба были несвободные по рождению.

– Невозможно! Ты – рабыня?

– Отпущенница Никодима...

– Того, что иногда занимается философией с Сенекой?

– Того самого.

Среди зрителей раздался оглушительный шум.

– Отлично! Превосходно! – ликовала воодушевленная толпа. – Да здравствует Кир, любимец богов!

Удивительный фокус «Эвридика» окончился, но Нерон не видел его. Он стоял неподвижно, как очарованный, в немом созерцании поразительной красоты девушки. Какая из всех знатных римлянок могла сравниться с ней? Ни одна, ни даже сама Поппея Сабина, молодая жена Ото, по которой весь Рим сходил с ума! А Октавия, будущая императрица! Да, с точки зрения греческого скульптора, Октавия была, быть может, совершеннее, она обладала царственной размеренностью движений, но как холодно, напыщенно и безжизненно было все это в сравнении с распускающейся, благоухающей красотой этой рабыни по рождению!

– Невозможно! – повторил цезарь. – Как называешь ты себя, Актэ?

– Отпущенницей.

– Богиня, – прошептал Нерон, страстно сжимая ее руку. – Дитя, ты не знаешь, как ты бессмертно хороша!

– Повелитель, ты смущаешь меня... Я знаю, что сильные мира любят издеваться над бедными и беззащитными. Но я не могу и не смею думать, чтобы ты, благородный освободитель Артемидора, хотел насмеяться надо мной...

– Насмеяться над тобой? Я хотел бы на руках понести тебя, как сестру. Я завидую Артемидору, как мертвый живущему! Если тебе угодно, милое создание, отойдем отсюда в сторону. Там, у входа, на нас не будут смотреть, а мне нужно так много сказать тебе!

Она молча последовала за ним.

– Право, эта мысль не покидает меня, – душевно продолжал он. – Артемидор! Если бы можно было поменяться с ним!

– Я все-таки думаю, что ты смеешься надо мной! Ты, всемогущий повелитель, и Артемидор! Какая непреодолимая бездна!

– Конечно, но только счастье на его стороне! Артемидор имеет чудное право целовать твой лоб, заключать тебя в объятия... Как доволен и счастлив должен он быть, когда твои розовые уста прикасаются к его губам!

– Я не целуюсь с Артемидором, – твердо сказала девушка.

– Как? Не целуешь брата?

– Он не брат мне, с твоего позволения. Клавдий Нерон упустил из вида, что Артемидор уроженец далекого Дамаска, а отец Актэ – италиец.

– Но ты просила помилования брату...

– Да, повелитель – в смысле назарянского учения. По этому учению, все люди – мои братья.

– Так ты схитрила со мной!

– Право, нет! Спроси одного из наших, обманываю ли я тебя! Мы, назаряне, и в ежедневных сношениях называем друг друга братьями и сестрами, так как мы не признаем никаких различий, в глазах народа разделяющих нас. Мы даем это имя одинаково рабу и благородному, ибо мы все люди по рождению, рабами же, благородными и сенаторами делает нас или случай, или же насилие и несправедливость прежних поколений...

Цезарь блестящими глазами смотрел в ее прелестное лицо.

– Девушка, – произнес он, одурманенный ее обворожительной женственностью, – ты весенний цветок, а говоришь с мудростью пифагорейца. То, что ты сказала, не больше и не меньше, как самая суть философии, внушенной мне Сенекой. Ты глубоко пристыжаешь меня. Я считаю себя со своими воззрениями стоящим выше избраннейших, и вдруг нахожу едва расцветающую девушку, чувствующую то же самое, что и я, но выражающую эти чувства яснее и

совершеннее, чем мой уважаемый учитель! Или это все сон? Или Платон с Сократом и Зеноном слились воедино, чтобы снова воплотиться в этом юном существе?

При последних вдохновенных словах императора лицо его озарилось внутренним огнем, облагородившим его черты и движения. Большие глаза его впились в темно-голубые глаза Актэ. Полные, едва покрытые молодым пушком губы задрожали так красноречиво, что сама неопытность поняла бы волновавшее его чувство. Это было бурное, пламенное признание первой безумной любви. Но глаза, следившие за императором из толпы, конечно, нельзя было назвать неопытными; лукавый Софоний Тигеллин следил за сценой между императором и краснеющей девушкой с удовольствием учителя, видящего, как всходят посеянные им семена. Клавдий Нерон был теперь близок к тому, чтобы признать ослом заносчивого философа Сенеку и принять за правила жизни то, что доселе составляло лишь исключение.

Малютка с волнистыми белокурыми волосами и созданным для поцелуев ротиком была прелестна. Если бы Нерон так неожиданно не попался на удочку, быть может, сам Софоний Тигеллин не отказался бы... Теперь, конечно, об этом нечего и думать, но, в сущности, это все равно, так как Софоний Тигеллин мог выбирать среди красивейших и знатнейших, ему стоило лишь протянуть руку, и даже сама Пoppея Сабина готова была поднести некое украшение своему супругу... Да, да, в этом блестящий Тигеллин не сомневался, и намерен был вскоре заняться этим. Теперь же он был доволен, весьма доволен походом на Марсово поле; против всякого ожидания, Нерон отлично играл ему на руку.

Другая пара глаз, незаметно следивших за императором и его молодой собеседницей, принадлежала Никодиму. Его шпионы и лазутчики донесли ему, каким образом Тигеллин и Нерон намеревались провести время между завтраком и обедом. Он тотчас же поспешил с Актэ на Марсово поле и, увидев императора, быстро отошел в сторону, предоставляя все остальное сметливости молодой девушки. Актэ, прибывшая в Рим лишь несколько недель тому назад (до этих пор, она ходила за больной родственницей Никодима в Остии) в кругу назарян стала уже почти знаменита чудесной силой убеждения и успешностью своих попыток в обращении язычников; обращенные ею последователи Христа считались десятками. И неутомимый, пламенный Никодим решил достигнуть намеченной им великой цели уже не только через посредство Сенеки, но гораздо более прямым путем, сведя императора с увлекательно красноречивой проповедницей нового учения. Никодим, бывший глава крупного торгового дома, познакомился с религией назарян во время одного из своих путешествий на Восток. Смерть любимого сына укрепила в его жаждавшем утешения сердце убеждение в божественной истине христианства и когда эта вера победоносно извлекла его из бездны отчаяния после тяжелой потери, он начал всем сердцем стремиться к тому, чтобы спасительное учение восторжествовало над заблуждениями государственной религии Рима. Хорошо знакомый с философией Сенеки, которому в былые времена он оказывал значительные денежные услуги, Никодим с радостью видел внутреннюю связь между учением Иисуса и полным презрением к миру стоицизмом; на этом-то и основывалась его безумно смелая надежда обратить питомца Сенеки в последователя Сына назаретского плотника.

Актэ казалась ему созданной для того, чтобы быть его орудием, не только по ее горячему, сердечному красноречию, но и потому, что она – хотя он сам себе не хотел сознаться в этом, – была воплощением безукоризненной красоты и женственности. Она повлияет на ум Нерона, быть может, даже на его сердце, но что за беда, если на этот раз, в виде исключения всеспасительная вера проникнет на крыльях земной, скоропреходящей любви? Актэ ведь знает свой долг... В последнюю минуту она найдет в себе силу спасти свою добродетель от бурного потока страсти.

Так рассуждал Никодим...

В глубине же сердца и почти безотчетно для него самого шевелилась мысль: «А если бы и погибла одна эта овца, то погибель ее послужит во спасение всему стаду».

Безумец забывал, что из худа и позора никогда не выходит добра; он был не в состоянии беспристрастно оценивать ситуацию.

С почти демонической радостью смотрел он теперь на быстро возраставшую приязнь между его отпущенницей и Клавдием Нероном. Все это выходило удачнее, чем он смел когда-либо надеяться. На лице императора не было и следа легкомысленной шутливости, обыкновенно отражающей завязку известных отношений с красавицами низшего сословия; напротив, черты его скорее выражали почтительное сочувствие и почти робкое обожание. Если Актэ сумеет умно повести дело, то сердце этого богато одаренного природой юноши в ее руках уподобится мягкому воску.

Беседа между императором и отпущенницей продолжалась. Вдруг Нерон, не в силах преодолеть своих чувств, схватил за руки девушку и страстно прижал их к груди.

– Актэ, – сказал он, – ты уничтожила меня сладкой музыкой твоих речей, божественной прелестью и умом твоих синих глаз... То, что ты очертила лишь несколькими словами, пробуждает во мне могучие, необъятные образы! Будем друзьями, Актэ, настоящими, сердечными друзьями! Теперь только понял я стих юного Лукана, где он говорит, что всякое откровение исходит от женщины. Ты, Актэ, обладаешь чистотой и силой воли, у меня же есть власть. Мне стоит лишь поднять руку и все в мире изменится, подобно тому, как изменяются эти игрушки под волшебным жезлом Кира. Если мы мужественно будем поддерживать друг друга... О, как ты прекрасна, как божественна и очаровательна!

И он со страстной нежностью поцеловал кончики пальцев краснеющей Актэ.

Она старалась высвободить свои руки, и он выпустил их, уступая ее молящему взгляду скорее, чем ее усилиям.

– Приди ко мне в Палатинум, – продолжал Нерон. – Вот этот перстень откроет перед тобой все двери ко мне во всякое время. Сенека должен узнать тебя. Мне кажется, что ты глубже постигаешь великие цели назарянства, нежели Никодим. Согласна ты, Актэ?

Осторожно сняв перстень с печатью, он подал его девушке, как жених подает розу невесте.

– Благодарю, повелитель, – смущенно произнесла Актэ, – но внутренний голос говорит мне, что я не должна принимать твой перстень и также что мне неприлично переступать порог дворца.

– Пустяки! Если этого требует сам цезарь! А, ты боишься за твое доброе имя? Конечно, коварная злоба тем скорее бросается на свою жертву, чем она милее и прекраснее. Так приходи в сопровождении Никодима...

– Может быть, повелитель!

– Отчего ты не скажешь просто: да? Разве это не похоже на предопределение, что мы снова встретились здесь после того, как я впервые увидел тебя несколько дней тому назад, когда ты уже возбудила симпатию в моей душе?

Актэ сильно покраснела и как бы со стыдом, молча опустила глаза.

– Так ты придешь? – повторил император.

– Я посмотрю, могу ли я это сделать.

– Как ты пылаешь, Актэ! Или ты думаешь, что я хочу обидеть тебя? Ты будешь моей сестрой, моей любимой сестрой, иначе я умру от тоски. Понимаешь ли ты? Нерон протягивает тебе братскую руку, Нерон, чьей благосклонности униженно заискивают цари!

– О, я знаю цену этой благосклонности! – звучным, сильным и убежденно-радостным голосом отвечала девушка.

Нерон был в опьянении.

– Так решено, дорогая, прелестная! Как удачно придумал Тигеллин привести меня на Марсово поле как раз теперь! Это стоит всех сокровищ империи! Ведь он, глупец, человек

минуты, враг мысли, но тем не менее он дал мне больше, чем Сенека со всей его мировой мудростью!

Оглушительные возгласы одобрения и вслед за тем громкий звук труб возвестили конец представления.

– Повелитель, – шепнула Актэ, заметив что Нерон собирается следовать за ней к выходу, – если ты желаешь мне добра, то оставь меня. Меня могут заметить, и ты не подозреваешь, какое жестокое и бессердечное осуждение может пасть на меня.

– Хорошо, Актэ! Видишь, я уже покорен тебе почти как раб. Но ты возьмешь перстень? Я прошу тебя от всего сердца!

– Хорошо... – с волнением отвечала она.

Тяжелый золотой перстень скользнул на ее средний палец и пришелся впору, точно был сделан нарочно для нее. Странное чувство овладело ею: это было наполовину радость, наполовину грусть и предчувствие грядущей беды. Ей казалось, что на нее надета цепь, которую уже не разорвет никакая земная сила.

Глава IV

Поспешно протиснувшись сквозь толпу, Актэ вышла из палатки, незамеченная Никодимом. Ее влекло непреодолимое стремление остаться в одиночестве под впечатлением удивительной встречи.

При мысли о том, как ее господин будет расспрашивать ее, как начнет со всех сторон истолковывать каждое слово, сказанное императором, ею овладевал несказанный страх. Ей казалось, что чужая, бесчувственная рука будет рыться в ее драгоценнейших сокровищах. Прежде чем это случится, она хотела хоть короткое время быть их единственной обладательницей, хотела без помехи насладиться только что пережитым и собраться с мыслями.

Почти полчаса ходила она по отдаленным окраинам Марсова поля, с сомнением поглядывая на перстень, надетый на ее палец. Все это казалось ей сном.

На ее руке перстень с императорской печатью, данный ей самим всемогущим цезарем! Не походило ли это на сказку древних пелазгов? В те далекие времена, облеченные эфирным светом Уранионы спускались к дочерям человеческим и приносили небесные громовые стрелы к ногам пастушек Эты. Но здесь, в этой действительности шумного Рима, где повсюду раздавалось вовсе не сказочное бряцанье преторианского оружия, здесь, на берегу Тибра, где все дышало такой новой, полнокровной жизнью – это было непостижимо!

Взор ее устремился в сторону Вечного города...

Несмотря на прозрачность октябрьского дня, южный горизонт подернут был красноватой дымкой. Вдали виднелись залитые солнцем храмы Капитолия; справа от него высились башни Палатинума, резиденция цветущего юноши, властителя всего этого необозримого моря построек, всей Италии, всего мира, – властителя, так горячо, любовно, безгранично доверчиво говорившего с ней, рожденной рабыней!..

Она вздохнула.

– Если бы он был одним из этих жалких рабов, таскающих камни для строительства! – печально думала она. – Я отдала бы все, что имею, за его выкуп; я работала бы целые годы, если бы имущества моего было мало для этого, а потом...

Она закрыла глаза.

Тихий голос внезапно произнес ее имя.

Перед ней стоял человек лет около сорока, в одежде вельможи, с видимым усилием старавшийся придать ласковое и приветливое выражение своим сверкающим серым глазам.

– Актэ, – сказал он, – ты бродишь одна, подобно тоскующей Деметре. Смеет ли новый друг предложить тебе свое сопровождение?

– Господин, я не знаю тебя.

– Этому легко помочь. Мое имя, полагаю, окажется тебе менее чуждым, чем мое лицо. Я Паллас, доверенный императрицы.

– Паллас! – вскричала она с испугом, точно совесть ее была не совсем чиста. – Имя это всем известно и... страшно.

– Оно должно быть страшно только тем, кто не оказывает моей повелительнице должного почтения, не признает мудрости ее действий, противится ее славным целям, или каким-нибудь иным способом грешит против божественной императрицы. Я возвысился милостью Агриппины; благодаря ей я достиг своего настоящего положения, но признательность и верность я все-таки считаю высшими добродетелями!

В глубокой задумчивости смотревшая на перстень императора, Актэ внезапно откинула со лба свои чудные волосы и почти смело спросила:

– Откуда знаешь ты меня и что нужно тебе?

– Я видел тебя недавно, когда цезарь помиловал отпущенника Флавия Сцевина. Я был во главе императорской свиты.

– Да? Я не заметила тебя.

– Это не очень лестно. Но ты была так поглощена своими мыслями, что я прощаю твою невнимательность. Быть может, мне понравилось именно твое увлечение. Ты показалась мне олицетворением сладкого спокойствия посреди вечно мятущейся столицы. Короче: ты очаровала меня...

– К чему говоришь ты мне это?

– Станный вопрос! К чему амфоре говорят о жажде? Я люблю тебя, Актэ, и молю богов, чтобы они расположили ко мне твое сердце.

– Мольбы твои напрасны, – отвечала девушка. – Я не могу любить. На такой вздор у меня нет ни склонности, ни умения.

– Ты называешь вздором блаженнейшую и единственную отраду жизни? Актэ, Актэ, что говоришь ты? Ты не можешь любить с твоими мечтательно-страстными глазами и прелестными устами, созданными для сладких поцелуев? Обманивай кого-нибудь поглупее меня!

– Я не могу любить, – печально повторила она. – А если бы и могла, то неужели ты думаешь, что я согласилась бы опозорить себя?

– Опозорить? Разве любовь Палласа позорна?

– Для тысячи других, наверное, нет. Поверь, несмотря на мою молодость, я знаю свет и его порочность. Я знаю, как думают римляне о девушках-отпущенницах, знаю, что имя это почти равнозначно разврату и легкомыслию... Многие, очень многие почли бы себя счастливыми разделить свой грех с тобой; ты могуществен и богат, и на возлюбленной Палласа должен отразиться блеск правящего миром добра. Я же презираю подобное возвышение, которое в действительности есть только позор, презираю потому, что прежде всего отвращение к таким поступкам лежит у меня в крови, а к тому же Иисус Христос Назарянин, которому я предана всем сердцем, завещал нам добродетель и чистоту мыслей в жизни.

Паллас помолчал.

– Ты не сказала мне ничего нового, Актэ, – медленно произнес он наконец. – Можно было сразу догадаться, что девушка, просящая помилования назарянину, сама назарянка. Никодим подтвердил мне это. Мне известно также твое отношение к нему; его я знал, встречаясь с ним иногда у Сенеки... Итак, твое гордое возражение меня несколько не удивляет, но в то же время и не убеждает.

– Почему?

– Потому что ты отвергаешь то, чего не испытала, Актэ! Я вижу тебя в третий раз. Третьего дня, в доме Никодима, я имел полную возможность наблюдать за тобой... Невидимый тобой, я стоял в таблинуме с седоволосым чудаком. Подобно молодой лани двигалась ты по

каменным плитам; ты говорила с рабами и для каждого находила приветливое слово; ты поливала осенние розы, кормила голубей зерном и хлебными крошками; один луч присущего твоей душе света ты уделила даже на долю старой больной собаки, лежавшей у бассейна и при виде тебя завивавшей хвостом. Тогда я решился при первом же случае сказать тебе, как я завидую животному, находящемуся в блаженной близости от тебя; сказать тебе... Но что с тобой?

– Ничего, ничего! – с трудом произнесла Актэ. – Пустая мысль... воспоминание... – Она закрыла глаза рукой. Теперь, когда она поняла, что Паллас говорил ей об истинной, настоящей любви, вдруг с поразительной ясностью и живостью перед ней возник образ цезаря в ту минуту, когда он в первый раз восхищался ее красотой; и вместе с этим образом в душе ее поднялась такая сладко-мучительная боль, что она едва удержалась на ногах. Она скоро оправилась, и Паллас с возрастающим жаром продолжал:

– Надеюсь, не мои слова испугали тебя? Или я слишком увлекся? Но в моем возрасте уже не тратят на ухаживанье недели и месяцы. Говорю прямо: Паллас, доверенный императрицы, страшный Паллас, как ты сама назвала его, – хочет иметь тебя своей женой. Слышишь, Актэ? Законной женой, а не любовницей! Что ты ответишь ему?

– Что я благодарю его, – опустив глаза, прошептала она, – и прошу простить меня, если я все-таки отвечу – нет.

– Ты говоришь в лихорадочном жару!

– Нисколько, господин! Именно ясность моих мыслей и придает мне мужество отказаться от этой чести. Такая девушка, как я, не подходит знатному вельможе...

Он покачал головой и положил правую руку на плечо Актэ, устремив сверкающий взор на ее дрожавшую от волнения стройную фигуру.

– Должен ли я сказать тебе, что ты несомненно подходишь мне? Должен ли я унизиться перед тобой? Разве тебе не известно, что я сам рожден несвободным? Антония, мать императора Клавдия, много лет тому назад подарила мне свободу и собственными усилиями я занял положение, которому теперь завидует весь Рим: поверенного божественной Агриппины.

– Да, я знаю, – возразила девушка. – Тем не менее нас разделяет бездна. Какую жалкую роль стала бы я играть в блестящем обществе Палатинума? При одной этой мысли у меня кружится голова.

– Ты не можешь бояться сравнения ни с кем.

– Нет, нет, мне страшно подумать об этом. И к тому же, господин, ведь я уже сказала тебе, что у меня есть душа и нет сердца. Я тебя не люблю, а сделаться твоей женой без любви – значило бы обмануть тебя.

Паллас нахмурился. Он не ожидал такого прямого отказа, и гордость его была уязвлена.

– Девушка, – сказал он, помолчав, – ты поступаешь, как безумная. Я держал в моих объятиях дочерей сенаторов, не особенно церемонясь, а ты отказываешься разделить мою жизнь и положение как моя законная жена? Твое ребяческое упорство так же безумно, как моя неслыханная решимость жениться на тебе. Но я не могу изменить этого: ты очаровала меня с первого взгляда и теперь, когда вместо того, чтобы отдаться мне со слезами благодарности, ты отвергаешь меня, я еще яснее чувствую, что не в силах отказаться от тебя. Подумай, Актэ! Поверенный императрицы ведь не первый встречный, и тот, кто не умеет схватить свое счастье, когда оно само дается в руки и, быть может, всю жизнь будет оплакивать это легкомысленно пропущенное мгновение. Итак, пока прощай! На большой дороге меня ждет моя свита.

И многозначительно склонив голову, он исчез за миртовой изгородью. Между тем уже вечерело. Час ужина давно миновал. Массы оживленно двигавшихся по широким аллеям носилок и пешеходов исчезли, и наступившая тишина, заменившая этот шум, ощущалась еще явственнее при горячем, красно-золотистом вечернем освещении.

Акта незаметно дошла до Элийского моста; пройдя по выложенному мрамором боковому настилу, она достигла середины моста и остановилась, опершись о перила. Отсюда, с вершины

главной арки, ежегодно бросались в воду сотни людей, которым наскучила жизнь, потерявшая для них всякий смысл или изнемогших в непрерывной борьбе с судьбой... Внизу со страшно-заманчивым рокотом шумели и пенились желтоватые волны, вздымались и падали, подобно мерному дыханию живого существа. Одна за другой вырывались они из-под квадратных опор моста и, постепенно успокаиваясь, катились дальше, сливаясь наконец в однообразной глади широкой реки.

– Как это утешает! – прошептала Актэ, подпирая лоб ладонью. – Волны приходят и уходят, и даже самые бурные из них все-таки сглаживаются и мирно текут в море!

Долго в раздумье смотрела она на одно место, где около устоев выше всего взлетали пенистые, крутящиеся струи, пока наконец ей почудилось, что она и мост бесшумно и гладко поплыли назад. Это было невыразимо сладкое, дремотное ощущение, так же благодатно освежившее ее потрясенную недавними событиями душу, как глубокий сон освежает утомленное тело. Солнце уже зашло, когда Актэ вспомнила о своих обязанностях и направилась домой.

Повернув в юго-восточном направлении, минут через сорок она достигла Vicus Longus, «Длинной улицы», отделявшей виминальский холм от квиринальского.

На едва приметном кособоге первого из этих холмов возвышались красивые постройки дома Люция Никодима, который нисходя в четвертом поколении от лакедемонян, по своим нравам и обычаям был чистокровным римлянином.

Актэ боялась, что пылкий патрон встретит ее укорами за продолжительное отсутствие, так как еще недавно, верный священной суровости назарян, Никодим выговаривал ей за то, что она в сумерки стояла со служанкой в остиуме. К тому же нетерпеливое ожидание могло также раздражить его.

Но вместо этого при виде ее Никодим просиял. Он дожидался ее в атриуме и, встретив на пороге, провел мимо таблинума в перистиль. В столовой горели масляные лампы. Уже часа два тому назад окончился обед семьи, состоявшей из хозяина дома, его жены, дочери и семи бывших рабов и рабынь, освобожденных своим господином: учение Спасителя так резко противоречило идее рабства, что даже человек такого устойчивого характера, как Никодим, не осмеливался защищать учрежденного государством невольничества. К тому же все домочадцы были обращены и крещены им самим и уже поэтому он не мог оставить на них цепи, духовно разбитые таинством.

– Ты должна быть голодна, – с почти нежной заботливостью сказал он. – Вот идет Лесбия с блюдами. Она оставила для тебя горячее кушанье, Актэ. Ешь, пей, а потом рассказывай.

Актэ опустилась на край застольной софы, на которой Никодим всегда возлежал за обедом.

– Ешь, ешь! – ласково повторял он. – Ты, наверное, совсем измождена. И руки твои холодны, как лед. Вот чудесное везувианское вино... Я нарочно для тебя достал его из погреба... Оно оживит тебя, Актэ. У тебя такой утомленный вид.

– Действительно, я утомлена, – сказала она, поспешно поднося кубок к губам. – Прости, что я не тотчас вернулась с тобой из палатки египтянина...

– Напротив, – усмехнулся Никодим, – я благодарен тебе за то, что ты усердно и решительно принялась за предстоящее тебе святое дело. Я видел, как цезарь относился к тебе. Если ты будешь благоразумна, то Никодим и вместе с ним Божественный Галилеянин победят раньше, чем наступит второе полнолуние.

Все еще с трудом владевшая собой, Актэ печально покачала головой.

– Нет, господин! – глухо произнесла она. – Не сердись на меня, ради Господа Иисуса, но это невозможно...

– Что невозможно?

– Чтобы я... Чтобы я обратила императора Нерона.

– Ты уже обратила его, если только умело воспользуешься тем, что судьба дает тебе в руки. Он был олицетворением доброты и милости...

– Именно поэтому. Он даже пожал мне руки и предложил быть его дорогой сестрой...

– Что такое?

– Да, это были его собственные слова. Он также приглашал меня в Палатинский дворец и то, что я ему говорила, кажется ему точным отголоском его душевных мыслей...

– Но ведь это поразительное торжество, Актэ! Это значит покорение Рима, водружение креста Господня на стенах Капитолия...

– Это конец наших радостных надежд, – прошептала Актэ. – Господин, я должна рассеять твое последнее сомнение: я не увижу больше императора!

– Ты помешалась, девушка?

– Слава Богу, нет! Давно уже я не находила в душе моей такой ясности, как теперь. Я буду откровенна и прямодушна, так как я многим обязана тебе. Ты не должен думать, что Актэ из одного лишь упрямства разрушает то, что ты задумал так умно и так благородно. Я... я...

Она запнулась. Лицо ее вспыхнуло жгучим румянцем стыда, между тем как Никодим смотрел на нее бледный и с раскрытым ртом.

– Я чувствую, – сказала она наконец, – что не могу выполнить назначенной мне тобой роли, не потеряв себя. Вы все утверждаете, что я умею убеждать лучше, чем наши красноречивейшие пресвитеры... Не знаю, ошибаетесь вы или нет, но мне ясно одно, что цезарь смотрел на меня иными глазами, чем кто-либо из всех обращенных мной в христианство...

– Ну что же следует из этого?

– Просто то, что он... Что он полюбил бы меня...

– Тем лучше!

– Нет, не лучше, потому что и я полюбила бы его. Да я его уже люблю, господин!

– Скоро же это сладилось! – злобно засмеялся тощий Никодим. – Но к чему мне твои глупые признания? Люби его сколько угодно, но исполняй свой долг распространения нашей божественной веры!

– На это у меня не хватает силы.

– Презренная! – вскричал Никодим. – Не завещал ли нам Христос отречься от всего мирского ради вечного спасения? Не повелевает ли Он умерщвлять нашу плоть и обуздывать греховные побуждения, отвращающие нас от стези праведности и добродетели?

– К этому-то я и стремлюсь, – возразила Актэ. – Если бы я хотела повиноваться моим желаниям, то теперь же пошла бы к нему... Быть с ним, в его объятиях, на его груди, полной таких возвышенных, прекрасных и благородных чувств, – вот к чему влечет меня моя греховная, попирающая всякие обязанности, воля. Но, так как последовав этому влечению, я погрузилась бы в бездну позора и унижения, то решение мое непоколебимо. Никакая земная сила не заставит меня вновь увидеться с человеком, близость которого грозит мне гибелью.

– Но если он сам прикажет тебе прийти?

– Скорее я умру, чем послушаюсь его. Цезарь властен над многим, но он не может помешать умереть тому, у кого на это хватит мужества.

Никодим сидел ошеломленный. Потом, внезапно протянув дрожавшие руки, он с рыданием воскликнул:

– Актэ! Во имя Спасителя, пролившего за нас Свою кровь, не упорствуй! Не разрушай идеи, величайшей со времени смерти Христа! Не разбивай будущности назарянства и его дивной, божественной, спасительной деятельности!

– Мир не может спастись грехом!

– Актэ! Могилой твоей матери, умершей в блаженном веровании в милость Господню...

– Могилой моей матери! – воскликнула тронутая девушка. – Твое упоминание об этой святой превращает мою твердость в непоколебимость!

– Так ты не хочешь? Несмотря на мои просьбы и на мои слезы?

– Нет, тысячу раз нет!

Лицо Никодима исказилось. С губ его готово было сорваться ужасное проклятье... Тонкие пальцы его сжимались, как когти хищной птицы, в груди клокотало, покрасневшие глаза метали полные демонической ненависти взгляды.

Но он мгновенно овладел собой и, еще дрожа, налил в чашу вино и выпил его сразу, как человек, умирающий от жажды.

– Ты не хочешь, – беззвучно сказал он, – но цезарь хочет... и Никодим также... пусть же мелкий камешек попробует задержать низвергающийся в долину великий обвал. Ты знаешь меня. Ступай спать, бедная дурочка! Завтра, быть может, к тебе вернется рассудок!

Он вышел из триклиниума; шаги его звучно отдались в колоннаде; дверь тихо скрипнула, и все замолкло.

Удрученная Актэ осталась одна в наполненной ароматом вина столовой. Угрозы ее госпоина с убийственной ясностью звучали в ее мозгу. Да, она его знала. Несмотря на всю его доброту и справедливость, он был способен на всякое насилие, если встречал противодействие тому, что он считал целесообразным и необходимым. Она сидела и думала. Все тяжелее и тяжелее давило ее предчувствие близкой беды.

Вдруг ей почудилось, что из глубины тускло освещенной столовой какой-то голос говорил ей: «Беги, беги, или ты погибла!»

Безумный страх овладел ею. Цезарь хочет... Никодим хочет... Но она не хочет и потому должна бежать... Одно только бегство могло спасти ее от греха, от борьбы с собственной слабостью и от злобы Никодима.

Тихо, как преступница, прокралась она в свою спальню. Дрожа всем телом и торопясь, точно спасение ее зависело от каждой тающей минуты, начала она собирать самые необходимые вещи. Золотую цепь, наследие матери, она надела на шею как талисман, накинула на себя плотную верхнюю одежду, затушила лампу и выскользнула из дома.

На утро испуганные домашние тщетно повсюду искали и звали Актэ. Постель ее оказалась несмятой; на двери была приколотая полоска пергамента с короткой надписью: «Прощайте все!» Ни по малейшему следу невозможно было угадать, куда скрылась девушка. Никодим, терзаемый сомнением и угрызениями совести, молчал о происшествиях последних дней, и ничего не подозревавшая семья его терялась в догадках, отыскивая причины этого неожиданного бегства. Потеря общей любимицы была для всех большим горем. Ее невинная веселость радовала и веселила домочадцев Никодима; блестящие белокурые волосы ее как бы озаряли весь дом небесным сиянием; ее цветущая наружность, голос, звонкое пение – все это оставило за собой пустоту и сокрушение, подобное сокрушению внезапно ослепшего человека, для которого навеки угасло солнце... Никодим утешал горько плакавшую жену, говоря что-то сквозь зубы о «девичьих капризах», «экзальтации» и о том, что «она скоро возьмется за ум», а затем отправился в префектуру заявить о происшествии. Оказалось, что в отделении префектуры, куда он обратился с этой целью, по случаю оказался и Фаракс, начальник конвоя, который неделю тому назад вел на казнь осужденного Артемидора.

Они узнали друг друга. Услышав в чем дело, Фаракс воспламенился. Он провел Никодима прямо к префекту и, говоря о милости, лично оказанной молодой девушке Клавдием Нероном, многозначительно заметил, что цезарь, наверное, огорчится, если беглянку постигнет какая-нибудь неприятность.

Префект протянул руку Никодиму.

– Мои военные и гражданские когорты обучены недурно, – сказал он. – Мы разыщем девочку, будь в этом уверен! Впрочем, я готов поставить на заклад моего лучшего скакуна, что раньше чем мы начнем серьезно выслеживать ее, она вернется сама!

Однако она сама не вернулась и когортам префекта также не удалось выследить ее.

Две недели разыскивали Актэ, прибегнув даже к помощи настоящих охотников за рабами, но все напрасно.

Нерон, снедаемый тайной тоской, как бы из участия к безутешному Никодиму назначил значительную награду за розыск девушки и приказал своим преторианцам оказывать всевозможную помощь городским когортам. Но наконец и он должен был примириться с мыслью, что прелестная, очаровательная Актэ, наполнившая его сердце такой божественной музыкой, исчезла навеки и бесследно.

Глава V

Зима прошла, и снова наступила весна.

Яркое апрельское солнце обливало землю живительными лучами божественных небес, лучами, превратившими аристократические кварталы Рима в один цветущий сад. Источники Aqua Claudia и Marcia пенились изобилием вод. Форум и Священная дорога казались покрытыми снегом, столько по ним двигалось гуляющих в белых одеждах. Народные поэты вдохновлялись новыми фантазиями; юноши убирали своих избранниц пурпуровыми розами; девушки мечтали о будущем счастье.

В противоположность своим счастливым подданным, суровый и мрачный цезарь Клавдий Нерон прогуливался в колоннаде в сопровождении своего советника и бывшего наставника Сенеки.

Разговор их часто прерывался продолжительными паузами, и тогда министр украдкой старался заглянуть под опущенные ресницы императора, чтобы разгадать поглощавшие его мысли...

Как изменился молодой цезарь после посещения им палатки египетского кудесника! Бледность его лица говорила о тайной, никому не ведомой внутренней борьбе, о вечной работе пытливой мысли, хотя стремившейся к творчеству, но до сих пор еще не проявившейся ни в какой определенной форме. Действия рождаются лишь из божественной надежды, из веры в их необходимость и мужественного убеждения. Быть может, и сердечная тоска также подсекала крылья молодого императора.

Искусство, доселе бывшее для него радостью жизни, внезапно сделалось ему ненавистно. Творения его любимых авторов лежали в библиотеке неразвернутыми; ни эпос, ни лирика не привлекали его; позабытая арфа печально пряталась под лавровыми венками, поднесенными ему истинными и притворными почитателями его таланта, и давно уже замолкли его веселые песни.

Со времени исчезновения Актэ он всецело посвятил себя философии и добросовестному обсуждению того, что Никодим вместе с Сенекой представляли ему как высшую задачу истинно великого духом правителя.

В этом направлении уже были приняты некоторые меры...

Воспоминание об Актэ, подобно ободряющему гению, повсюду сопровождало мятущуюся душу цезаря. Ведь и она исповедовала религию назарян: смел ли Нерон сомневаться в ней?

Однако он сомневался; сомневался менее, быть может, в спасительности великого переворота, которого от него ожидали, чем в возможности его выполнения.

Да, если бы его сердцу говорила Актэ, живая Актэ, с ее сладким, вкрадчивым голосом, все его колебания растаяли бы, как вешний снег. Но этого не могло сделать одно только воспоминание о ней и хотя оно наполняло его ум священным уважением, которое мы чувствуем к дорогим мертвецам, но вместе с тем, порождало в нем глухую, подавляющую и угнетающую его тоску. Роковая загадка!

Какой злобный демон похитил у него звезду его жизни? Как и зачем? На эти вопросы он не находил ответа, а Никодим, знавший о причине бегства Актэ, считал за благоразумнейшее молчать.

Шаги императора и его ближайшего советника зловещими звуками отдавались в пустынной колоннаде. Сюда не показывался ни один раб, ни один преторианец: все чувствовали, что перед наступлением бури благоразумнее держаться в стороне.

– Ты кажешься очень расстроенным, повелитель, – заметил Сенека, приметив, что Нерон с каждой минутой становился все мрачнее.

– Может быть, – отвечал он.

– Так последуй совету опытного друга, который тебя любит и безмерно гордится тобой!

Нерон вздохнул. Написанное на его юношеском лице утомление составляло разительную противоположность ясному спокойствию и довольству, разлитым в старческих чертах его спутника, верившего в свою силу и цель.

– Если ты хочешь победить свое мрачное настроение, – продолжал Сенека, – то принудь себя обратить мысли на то, что далеко от предмета твоей заботы!

– Это легко сказать, – возразил цезарь. – Вздернутый на колесо Иксион, вопреки всей философии, не будет в состоянии думать ни о чем, кроме своих страданий!

– Так ты страдаешь, цезарь? Я думал, что тебе не так трудно будет сдержать данное мне обещание. Неужели ты так скучаешь по беседам с Тигеллином, по уличным приключениям и ночным попойкам?..

– Может быть. Тигеллин был моим верным товарищем, преданным другом. Несправедливо, что я начал так пренебрегать им.

– И теперь, как прежде, ты можешь доказать ему твою благосклонность; но конечно, он не годится в товарищи цезарю, задумавшему столь великое и славное дело... Дорогой сын! Я понимаю, что у юности есть свои права... Но все-таки: величие императора, как бы молод и цветущ он ни был, основано на умеренности. Несомненно, что строго придерживаясь начертанных мной и одобренных тобой основ правления, ты приносишь жертву; но жертва эта необходима, если ты желаешь достигнуть намеченной тобой цели: освобождения человечества. Никто не поверит твоему сочувствию народным страданиям, если ты сам будешь жить в пучине безумных наслаждений.

– Жил ли я так когда-нибудь? – с горечью спросил цезарь.

– Поистине, нет! Ты предоставил это сенаторам и выскочкам, утопающим в золоте, в то время как бедняки и несчастные не имеют одежды, чтобы прикрыть свою наготу.

– Ну так в чем же обвиняешь ты меня?

– Я только хотел сказать: решившись на великое дело, ты не должен отступать перед связанными с ним неприятностями и огорчениями: ни простота твоей частной жизни, ни изумление прежних друзей, ни упреки твоей супруги Октавии, ни даже постоянное неудовольствие Агриппины...

– Разве я выказал слабость в этом отношении?

– Ты исполняешь свой долг настолько это тебе возможно. Но все-таки раздаются голоса, утверждающие, что было бы лучше для общего блага и приличнее для достоинства римского императора, если бы он немного отстранил императрицу-мать от занятий государственными делами.

– Так говорит Сенека, совместно с Агриппиной воспитавший Клавдия Нерона?

– Прости за смелость; но я должен сказать это. Благороднейшие люди Рима разделяют мое мнение. До сих пор все еще шло сносно, но я опасаюсь, что наступит время, когда Агриппина станет на нашей дороге. Она есть совершеннейшее воплощение именно того нефилософского мировоззрения, против которого мы восстаем. Мы стремимся к равенству и справедливости, она же вырывает непроходимую бездну между богатым и бедным, знатным и простым,

свободным и рабом. Хотя незнакомая с назарянским учением, она его пламенная противница...

Император остановился.

– Сенека, – странно сдержанным голосом спросил он, – ты действительно веришь, что век наш созрел для гигантских планов Никодима?

– Созрел ли? Разве заурядная толпа когда-нибудь созревает для великих исторических переворотов? Только мыслящее меньшинство трудится над осуществлением новых идей, большинство же, естественно, оказывает им сопротивление. Но разве спрашивают больного ребенка, кажется ли ему целебное лекарство сладким медом? Так и ты, не смотри на эгоизм сенаторов, не желающих ничего знать о своем человеческом сродстве с рабами и мещанами! Насильно влей им в рот жгучее лекарство, и пусть они ревут, как Филоктет!

– Да, да, это одно уже было бы торжеством, – задумчиво сказал император. – Я ненавижу сенаторов...

– С некоторыми исключениями, конечно; например, Флавий Сцевин...

– И Тразеа Пэт, – закончил цезарь. – Это истинные люди и мыслители, которых я почитаю столько же, сколько тебя, мой дорогой Анней.

– Не почитай меня, а люби! – отвечал старик.

Нерон молча пожал ему руку.

– Эти немногие, – продолжал Сенека, – поддержат нас в борьбе, а их влияние имеет больше значения, чем общее противодействие их неспособных товарищей. Философия на престоле – это величайшая из когда-либо существовавших идей. Я не верю в благочестивые, мечтательно-трогательные вымыслы Востока, которые нам рассказывает Никодим, но смысл их верен и, при настоящем положении вещей, они составляют единственно возможный путь к тому, чтобы сделать доступными и понятными народу самые возвышенные истины стоиков, вместе с основами и нашего нового учения.

Нерон опять остановился.

– В этом-то я и сомневаюсь, – сказал он.

– Как? После того, что вчера только сообщил нам Никодим о палестинских христианах, о их презрении к пыткам, спокойствии и готовности к смерти, которые они проявляют в борьбе с их иудейскими преследователями?

– Да, дорогой Анней! Я не остался бесчувственен к этому красноречивому описанию, но в то же время духом моим овладело тяжкое угнетение. Как мне выразить это? Меня пугает до глубины души мировоззрение, совершенно пренебрегающее земной жизнью, отрицающее все прекрасное и приятное, из одной лишь боязни, чтобы искушения эти не отвратили душу от вечности и от заботы о загробной жизни. Что нам – тебе и мне – в этом бесцветном назарянстве, если мы не верим в их небо?

Сенека закусил было губы, но вдруг величаво выпрямился и медленно произнес:

– Я верю в него, повелитель! Конечно, иначе, чем робкие женщины, скрывающиеся в глубине катакомб от ненависти наших жрецов и презрения высокомерной черни, но все-таки я верю в него. Бытие наше вечно; мы составляем частицу бессмертного божества; осужденные здесь на единичное воплощение, после смерти мы теряем индивидуальность нашу и вновь соединяемся с изначальным источником света.

– После смерти! Но ведь мы живем пока! Неужели мимолетная жизнь эта должна пройти в печали для того, чтобы сделалось возможным воссоединение наше с вечностью? Неужели необходимо мне здесь утратить все, чтобы по ту сторону моего погребального костра найти лишь продолжение безличного бытия?

– Что? Что утратил ты? Говори, сын мой! Давно уже я примечаю, что тебя пожирает печаль, посторонняя нашему делу...

Нерон принужденно улыбнулся.

– Ты ошибаешься, – с достаточной правдивостью отвечал он. – Со мной не случилось ничего нового. То, чего мы достигли, даже радует меня. В особенности же наш эдикт о чужеземных религиях... это твоё создание, дорогой Анней...

– Твое, – возразил министр. – Я лишь поднял вопрос, ты же осуществил его. И как осуществил! Вопреки твоей матери, которая, подстрекаемая своим пажом Палласом, объявила все это плебейским вздором; вопреки верховному жрецу и жрецу Юпитера, горячо восставшим против возрастающей смелости восточной и египетской ересей; вопреки твоей супруге, ежечасно ожидавшей, что над нами разразятся страшные юпитеровы громы; наконец, вопреки глупости, вооружившейся на тебя со всех сторон. Ни один обитатель, ни один раб семихолмного города не будет больше преследуем за свою религию! Никакие римские предрассудки не принудят его приносить жертвы государственным богам! Это ли не славное торжество философии?... А ты все-таки печален?..

Лицо императора прояснилось.

– Да, ты прав, – сказал он, протягивая руку советнику. – Я мог бы быть доволен. Мы уже кое-что совершили; конечно, это только одни приготовления, но тем не менее они славны и возвышенны. Владычество долга – самое слово это звучит подобно божественной трубе, оно вливает в меня силу воздержания и самоотречения. Но я ведь смертный, часто и легко поддающийся своей слабости... Наяву и во сне меня томит страстная, неутолимая жажда счастья...

– Счастье заключается в исполнении нравственных законов, – сказал министр.

– Я исполняю их, но счастье все-таки не рассеивает мрака моей жизни.

– Но чего же тебе недостает? Ты – цезарь, философ, супруг прекрасной, любящей Октавии, готовый умереть за тебя... Хотя она по-своему и противодействует тебе...

– Если бы дело было только в этом! Противодействует! Не думаешь ли ты, что я так нетерпим? Как императрица и супруга, она имеет право выражать свое мнение. Конечно, признаюсь, меня дрожь пробирает, когда по вечерам мне толкуют о гневном всемогущем Юпитере... Но если бы и было иначе, если бы и она была сторонницей свободы, все-таки я не нашел бы успокоения. Не постигаю, что отталкивает меня от нее. Часто мной овладевает почти жалость, и я сам себе кажусь преступником, бесчувственным к ее бесконечной доброте; но все-таки... Вот в чем мое несчастье!

– Ты не любишь ее, – с огорчением сказал министр.

Нерон вздохнул.

– Любовь... любовь! Мне кажется, она увлекает человека как ураган... Она ошеломляет, наполняет сердце смертельно-томительным желанием и в то же время разливает в жилах огонь... В разрывающейся груди нет места для иных мыслей, кроме мыслей о ней! Все, все можно отдать за обладание ею... Даже престол и благодетельную, мировую мудрость Стой...

Страстное воодушевление цезаря росло с каждым словом, и он крепко прижал руку к сердцу, как бы для того, чтобы обуздать бушевавшую в нем бурю.

– Ты так любил! – прошептал Сенека, пораженный внезапным откровением.

– Да! Я должен высказаться хоть раз! Я любил! Любил белокурую, прелестную, божественную девушку, Актэ, отпущенницу Никодима! Горе мне! Счастье мое разбилось прежде, чем я успел вкушать его! Эта очаровательная, обожаемая Актэ, клянусь могилой моего незабвенного отца Домиция – сделалась бы императрицей, если бы нас не разлучила глупая, непостижимая судьба!

– Как? Отпущенница на престоле Палатинского дворца?

– Твое изумление противоречит главному основанию твоей философии, – отвечал цезарь. – Повторяю: я отказался бы от выполнения завещания императора Клавдия; Октавия скоро утешилась бы, а единственная и несравненная Актэ стала бы моей женой. Рукоплещи же, Сенека! Назарянка на престоле – это был бы самый отважный шаг к осуществлению твоего общественного переворота!

– Правда, – пробормотал Сенека, – но я опасюсь...

– К несчастью, тебе решительно нечего опасаться, – прервал его цезарь. – Императрицу Рима зовут Октавией... Актэ исчезла, как потухший метеор, и Нерон научился обуздывать свои мечты. Но прекратим этот роковой разговор! На сегодня я хочу забыть все заботы и превратиться в эпикурейца. Приглашая императора к себе в гости, Флавий Сцевин, естественно, ожидает найти в нем приятного собеседника.

– Как повелишь. Я спешу переодеться.

Глава VI

Полтора часа спустя густая толпа теснилась перед входом в императорский дворец. Часовые, стоявшие здесь с копьями в руках, едва могли сдерживать напор любопытной массы. Ступени и цоколь соседнего храма были сплошь усеяны народом; на позолоченные статуи карабкались подростки и даже между высокими колоннами палатинского подъезда мелькали любопытные зрители.

– Идут! – раздался вдруг восторженный детский голос.

В возбужденной толпе пробежал ропот как перед началом нетерпеливо ожидаемого представления.

После своего союза с молодой Октавией, император показывался теперь впервые на городских улицах в торжественной процессии, направляясь в дом сенатора Флавия Сцевина, дававшего блестящий пир в честь высокой четы. Впереди медленно ехали два военных трибуна в серебряном вооружении. За ними следовал небольшой отряд преторианцев с огненно-красными перьями на блестящих шлемах; позади них тридцать рабов в вышитых золотом одеждах несли каждый по два незажженных факела. Копья преторианцев, также как факелы рабов, увиты были розами.

– Императрица-мать! – раздались в народе изумленные голоса.

– Как? И в этом даже Агриппина хочет принимать участие?

– Невероятно!

– Это было простительно, пока цезарь не был еще женат.

– Это оскорбление для светлейшей Октавии!

– Берегись, Кай! А в особенности ты, дерзкий Семпроний! Кругом кишат шпионы.

– Шпионы? Что нам до них? Мы защищаем права императора.

– И римские обычаи.

– Покойный Август никогда не потерпел бы этого.

– Нерон любит свою мать.

– Клянусь Геркулесом, если бы он знал...

– Молчи! Или тебе не дорога голова?

Такие и подобные разговоры слышались при появлении роскошных носилок, с достоинством и ловкостью несомых всем известными сигамбрами.

На мягких подушках вместе с императрицей восседала ее фрейлина, испанка Ацеррония.

Двадцатилетняя странная девушка эта, казалось, соединяла в себе опытность матроны с невинной беспечностью ребенка. Иногда в ее сине-зеленых глазах сверкало самое тонкое лукавство; иногда же ее большой, чувственный рот принимал такое детски-наивное выражение, что даже скептик поверил бы в ее простосердечие. В обращении с Агриппиной она совершенно внезапно переходила из тона подруги в тон покорной рабыни, причем в обоих случаях была одинаково неискренна. Ее главную красоту составляли густые, ярко-рыжие волосы, белоснежная кожа и блестящие зубы, при смехе придававшие ее лицу выражение красивой пантеры. Императрица-мать очень дорожила ее обществом, и Ацеррония была единственным лицом, не слыхавшим от своей госпожи ни одного немилостивого слова.

Откинувшись на подушки и подперши рукой свою украшенную жемчугами голову, Агриппина смотрела высокомернее, повелительнее и самоувереннее, чем обычно. Порывы независимости Нерона, несколько месяцев тому назад так неприятно проявившиеся в обнародовании эдикта, о веротерпимости, теперь постепенно слабели. Давно уже он не предпринимал ничего важного без ее совета, принимая ее мнение почти за приказ. Очевидно, эдикт был лишь мимолетной прихотью; она не намерена была затрагивать этот вопрос, так как подобная попытка с ее стороны могла бы снова пробудить почти уже исчезнувший в сыне дух противоречия. Собственно говоря, она имела все поводы быть довольной настоящим положением вещей. Уважение Нерона перед ее высоким умом было едва ли поколеблено... Даже сам Сенека, по видимому, снова пришел к убеждению, что благоразумная политика невозможна без неограниченного верховенства императрицы-матери, а главное, на ее стороне был начальник преторианцев, честный Бурр, который в случае надобности оказал бы ей энергичное содействие. В последнее время Бурр еще больше запутался в сети своей повелительницы, и она была уверена, что он окончательно, до безумия влюблен в нее, несмотря на то, что она была очень скупа на явные проявления благосклонности.

Непосредственно позади носилок Агриппины шел ее управляющий и частный секретарь Паллас, окруженный толпой рабов.

На шее у него надета была драгоценная цепь, недавний подарок императрицы.

Каких бы упреков ни заслуживала высокомерная женщина, ее нельзя было упрекнуть в неблагодарности, отсутствовавшей среди ее пороков и недостатков.

Овдовевший император Клавдий женился на Агриппине по совету Далласа.

Император, напуганный и опозоренный неслыханным развратом своей казненной наконец супруги Мессалины, сначала противился изо всех сил, но Даллас не унимался. Агриппина, в то время надевшая на себя личину строгой нравственности, действительно казалась ему самой подходящей супругой слабому императору, и, кроме того, она посулила ему такую чудесную награду, что он не только устроил брак, но убедил императора усыновить тогда еще маленького Нерона, сына Агриппины от первого брака.

Она никогда не забывала его услуг. Тайно презираемый аристократами за низкое происхождение, несимпатичный Нерону, Паллас, тем не менее играл весьма значительную роль благодаря милостям императрицы-матери. Негодующие сенаторы не раз бывали вынуждены оказывать любимцу Агриппины блестящие почести и официально выражать благодарность за его услуги государству; а однажды, когда он заболел, они даже воссылали публичные молитвы о его выздоровлении.

Агриппина вполне осчастливила его высшим доказательством своего благоволения. Она дарила ему поместья, виллы, дворцы, рабов, драгоценности, и сверкавшая теперь на его мускулистой шее цепь, быть может, была самым лестным и нежным из всех ее подарков, ибо на каждом звене цепи находились изображения могущественной правительницы.

При дворе Паллас считался одним из немногих, кто вел довольно безукоризненную жизнь.

Отношения его к императрице не носили ни малейшего отпечатка той любезности, которую всегда проявлял в обращении с ней Афраний Бурр.

Много лет назад Паллас был женат, но скоро потерял свою жену, кроткую, покорную гречанку, умершую ужасной смертью. С той поры он исключительно посвятил себя служению разносторонним интересам императрицы-матери.

Попытка ее соединить верного Палласа с фрейлиной Ацерронией потерпела неудачу, скорее благодаря спокойному отказу рассудительного секретаря, чем горячему отвращению рыжей пантеры, которая как дочь кордубанского аристократа, с презрением смотрела на отпущенника и с большой смелостью в присутствии Агриппины говорила ему самые бесцеремонные истины.

Вообще поверенный императрицы не прельщался никем, хотя далеко не все благородные девушки разделяли взгляд на него Ацерронии. Но Паллас вовсе не жаждал нового союза. Его кроткая Андромеда слишком резко отличалась от расчетливых римлянок.

Так думал он до встречи с белокурой, цветущей Актэ.

Тогда внезапно он понял, что она может заменить его потерю. В сердце сорокатрехлетнего человека вспыхнул тот же огонь, который загорелся в нем, когда впервые он увидел на берегу Стабии прелестную фигуру молодой гречанки.

– Теперь или никогда! – подумал он, вспомнив этрусскую песню о колючем кустарнике, давно уже отчаявшемся в себе, а между тем производившем розы... И он улыбнулся не поэтическому образу, но тому, что только теперь вполне постиг смысл этой песни.

Незамеченный Актэ, он второй раз в жизни увидел ее в доме Никодима, а затем между лавровыми изгородями Марсова поля, где он открыл ей свои чувства. Потом она вдруг исчезла, подобно Прозерпине, внезапно похищенной подземным божеством...

Отказ ее был достаточно ясен. Паллас мог только предположить, что причиной ее бегства был он. Поступок этот действительно доказывал ее безрассудный ужас к нему, которого она с самого начала назвала «страшным».

Невыразимая горечь овладела его сердцем. Покоренный ее жертвенным благородством, он, могущественный Паллас, предложил этой безумной свою руку и сердце для прочного союза, вместо того чтобы, как она сама предположила, только добиться ее взаимности; но этот честный поступок возбудил в ней одно лишь отвращение, побудившее ее бежать от него, как от зачумленного!

И она бежала, бросив все, из боязни чтобы он не прибегнул к насилию!

Жалкое разочарование! Мучительное, невыразимое унижение!

Мысль об этом уже несколько недель грызла его. Потерять светозарную Актэ и потерять ее так – это превосходило всякую меру терпеливости!

О действительных побуждениях Актэ он не имел ни малейшего понятия. Усердные розыски цезаря он приписывал его участию к Никодиму, почти другу Сенеки. Знал Паллас истину, он безумствовал бы подобно Аяксу, чей рассудок был помрачен богами.

Теперь, идя за носилками своей повелительницы, окруженный блестящей толпой пала-тинских рабов, предмет тайной и явной зависти стольких тысяч людей, Паллас примирился со своим разочарованием и, высоко подняв выразительную, энергичную голову, вполне наслаждался своей ролью создателя агриппино-нероновой династии. Тем не менее он казался очень постаревшим.

На сильном человеке, в течении многих лет испытывавшем одно лишь удовлетворение успешностью своей деятельности, а затем внезапно охваченном непреодолимой любовью и тотчас же пораженном горестью разрушенных надежд, события эти оставляют более глубокие следы, чем самые страстные бури в юности.

Свита императрицы-матери шла за золотой лектикой императора и его супруги Октавии.

За этими носилками также следовали тридцать факелоносцев и небольшой отряд гвардии под начальством агригента Софония Тигеллина.

Блестящий всадник на своем великолепном каппадокийском скакуне ехал рядом с носилками молодой императрицы. По временам конь его пугался шума толпы, что давало агригенту желанную возможность не только выказать свою наездническую ловкость, но также бросать из-под черных ресниц взгляды на Октавию, с легкой краской на щеках отвечающую наклоном головы на восторженные приветствия народа.

«Она прекрасна, – думал агригентский сердцеед, – прекрасна, как Диана, но боюсь, что она так же сурова... И он не любит ее, мой всемогущий Нерон! Непостижимо! Просто нелепо! Мне кажется, что если бы в начале моего жизненного пути мне встретилась девушка, подобная Октавии, я никогда не сделался бы неисправимым грешником, так ловко управляющим своим

конем. Образ жизни достойного Тигеллина – очень глупая и, в сущности, однообразная история! В каждой цветущей женщине искать небесную Афродиту и всегда находить лишь жалкий обломок, слабое эхо божественной мелодии – это в конце концов становится утомительным. Клянусь Эпоной, иногда мне думается, что в этой комедии мы играем очень смешную роль! Теперь же, впервые... Дерзкий безумец, или ты позабыл Гомера? Конечно, царь Иксион немножко неловко принялся за дело... и... право, она настоящая вавилонская роза, несравнимая с сорванными мной доселе цветами и цветочками... А для героя заманчиво ведь одно лишь героическое!»

Действительно, наружность юной императрицы могла обворожить пламенного агригента. Прежде живая и веселая, теперь она отличалась необычайной серьезностью и сдержанностью, составлявшими странный контраст с ее кроткими, мягкими чертами. На почти всегда опущенных, длинных, темных ресницах лежало облако печали. Молча сидела она возле своего молодого супруга, бледно-мраморное лицо которого казалось точным отражением ее собственных тайных дум.

Холодное спокойствие этой четы и их видимая отчужденность невольно производили тягостное впечатление на внимательного наблюдателя. Очевидно, что судьба соединила здесь два благородных, но в своих стремлениях и чувствах не соответствовавших одно другому сердца. Как мог Нерон, с его увлекающейся страстной натурой, порывы которой обуздывались лишь искусственными средствами, Нерон отступник, вечно терзаемый внутренними бурями и борьбой, подойти к ясно-непоколебимой, благочестивой Октавии, блаженно веровавшей в унаследованную ею религию предков и отвечавшей на все сомнения своего супруга вздохом сострадания или улыбкой уверенности и надежды?

Если же Клавдию Нерону случалось принять тяжелое решение, выказать великодушие или одержать какую-нибудь иную победу над самим собой – Октавия находила все это только естественным.

Зачем сомнения там, где все так ясно и понятно? Благородный человек и впотьмах видел здесь свой путь...

При таких речах супруги Нероном овладевала странная смесь самых противоположных ощущений: в нем закипали гнев, изумление, стыд, а сильнее всего – упрямое недовольство, по временам походившее на ненависть.

– Да здравствует император! – кричала восторженная толпа. – Да здравствует императрица, кроткая Октавия!

Нерон с глубоким вздохом посмотрел на свою юную подругу и принужденно улыбнулся...

Она на секунду подняла глаза и также со вздохом снова опустила задумчиво-усталый взор.

Действительно, она казалась ужасающе холодной.

«И такой она была всегда», – подумал император.

Даже в день свадьбы она не выказала сладкого волнения, на брачном пороге озаряющего красотой даже некрасивых девушек. Она оставалась немой и холодной, подобно пигмалионовой статуе до одушевления ее Афродитой.

Какая разница – Нерон! Зевс свидетель, что он никогда не любил ее; но все-таки, когда за ними тихо затворилась дверь спальни и он увидел перед собой свою цветущую жену, облитую волшебным, пурпуровым светом лампы, тогда прежнее его равнодушие показалось ему безумием, и в нем вспыхнула такая страсть, какую едва ли чувствовал к Елене нежный Александр. Опустившись на золотую скамью, он бурно привлек ее к себе и с искренним увлечением прошептал:

– Будем счастливы, прекрасная Октавия, счастливы целую долгую жизнь!

Пламенными поцелуями осыпал он ее прелестное лицо, душистые волосы и белоснежные плечи...

Она же – та, о страстной к нему любви которой так часто толковала ему отпущенница Рабония, ее поверенная, – она, «нежная невеста с светлым взором лани», слушала его восторженные речи, как безжизненная мраморная статуя.

Если бы она еще сопротивлялась ему! Но и этого не было; она не разыгрывала стыдливую, но принимала его ласки без сочувствия и без малейшего волнения любви.

С этой минуты Нерон перестал верить в ее любовь. Ему казалось, что она питает к нему только расположение сестры. Сам же он не умел достаточно лицемерить, чтобы долго скрывать свой недостаток чувства к ней. Разрыв был непоправим, и они старались лишь соблюдать наружные приличия.

Позади свиты императорской четы следовал главный доверенный раб императора, тридцатилетний Фаон. Правильный, симпатичный, смелый рот придавал нечто юношеское красивому лицу этого стройного человека. По-видимому, Фаон не слишком мрачно относился к великим жизненным вопросам. Философия его подходила под мировоззрение Горация: «Наслаждайся настоящим и не рассчитывай на будущее!»

Возле главного раба шло еще пять или шесть служителей, несших украшенные жемчугом шкатулки из лимонного дерева, полные всевозможных драгоценностей, предназначенных супруге и дочерям Флавия Сцевина в подарок от императора.

Процессию завершали носилки Сенеки, окруженные многочисленными придворными и преторианцами. В носилках рядом с министром сидел начальник гвардии Афраний Бурр.

Громко приветствовал народ своих любимцев.

– Да здравствуют Диоскуры государства! – гремели тысячи голосов.

– Сенека улыбается! – заметил один старый клиент. – Пн доволен, как триумфатор! Наверное, с границы получены благоприятные вести! Его государственный талант покориł самих хаттов, которых не мог покорить меч.

– Не верь этому! – возразил ему богатырь со светлыми, как лен волосами. – Хатты так же умны, как отважны. Но они хотели поддерживать дружбу и мир с Римом, и поэтому скоро мы пришлем наших знатнейших вельмож для приветствий цезарю и заключения с ним договора от имени всего народа.

– И это триумф, – отвечал римлянин. – Я знал это: Сенека улыбается. О, цветущий век философии! Право, тога все-таки еще могущественнее меча!

– Ты думаешь? – возразил германец. – Судя по взгляду Бурра я скорее убеждаюсь в противоположном.

Действительно, эти две характерные головы – глубокого мыслителя и сурового, решительного воина, для серьезного наблюдателя представляли настоящую загадку. Лицо Сенеки было бледно, спокойно, изборождено морщинами; лицо Бурра, красное, как после двадцатого кубка, было мускулисто и почти грубо; который из этих двух людей держал в своих руках судьбу империи? Сенека ли, задумавший ниспровержение тысячелетнего прошлого, или Бурр, в качестве союзника Агриппины, долженствовавший выступить его защитником?

Быть может также, в книге судеб написано было, что ни один из них не повлияет на ход грядущих событий? В таком случае самонадеянная уверенность, написанная в чертах этой столь противоположной пары, могла быть только бесконечно смешной.

Так, медленно и торжественно двигался императорский поезд по Via Sacra, направляясь к кверкетуланским воротам. Напоенный благоуханием и светом воздух уподоблялся дыханию самой весны, и казалось, что сам Юпитер ласково приветствует земное воплощение своего бесконечного могущества.

Глава VII

Флавий Сцевин встретил императорскую фамилию со свитой при входе в дом.

Пока императрица-мать, опираясь на руку Ацерронии, величаво выходила из носилок, рослые преторианцы медленно проходили под украшенной живописью аркой ворот. Не будь розовых гирлянд, обвивавших их шлемы и копья, шествие их походило бы на занятие неприятельской крепости.

Старый сенатор Флавий Сцевин невольно выразил удивление при таком неожиданном зрелище и заметившая это Агриппина, смеясь, сказала ему:

– Наши воины будут служить, кстати, и украшением твоего пира. Я люблю бряцание оружия под весенними цветами. Прошу тебя распорядиться людьми по твоему усмотрению. Смешай их с рабами; собери вместе при играх; приставь их в виде почетного караула к наиболее достойным из твоих гостей; ты должен распорядиться ими. Они будут повиноваться беспрекословно.

Наполовину обманутый искусным притворством Агриппины, Флавий Сцевин старался убедить себя, что это была действительно лишь милостивая учтивость.

Скоро, однако, ему пришлось разочароваться. На роскошно округленном подбородке императрицы мелькнуло едва приметное насмешливое подергиванье, и выражение злобы убедило Флавию в том, о чем он должен был бы догадаться с самого начала.

Через своих многочисленных шпионов Агриппина знала, что Флавий Сцевин был отъявленным врагом ее властительных стремлений и что вместе с другими значительнейшими сенаторами, как Бареа Соран, Пизо и Тразеа Пэт, он даже неоднократно измышлял средства и способы к низвержению ее первенствующего влияния.

Не отступившая бы ни перед каким преступлением в защиту своего положения, – за что ручалось ее прошлое, остававшееся тайной лишь для Нерона и его супруги – Агриппина от своих противников ожидала такой же решительности и, вступая в логовище льва Флавию, она желала обеспечить себе благополучное из него возвращение.

Пока она, со свойственной ей величественной благосклонностью обратившись к супруге Флавия Метелле, осведомлялась о ее здоровье, хозяин дома приветствовал императора и юную Октавию. Обычай требовал, чтобы в подобных случаях римский цезарь целовал сенаторов. В эту пустую церемонию Нерон вложил такое теплое чувство, которое ясно доказало присутствующим его сыновнее уважение к Флавию. У кроткой Октавии Флавий Сцевин поцеловал руку и глаза его засияли при ласковом привете краснеющей императрицы. Октавия всегда была его любимицей. Он не подозревал ее страданий и считал ее союз с Нероном воплощением тихого счастья.

С горьким ожесточением Агриппина видела, что Флавий Сцевин и не думал отходить от молодой четы, когда Метелла обратилась к ней с приглашением войти в дом.

– Повелительница Агриппина, – сказала она, – если тебе угодно, войдем!

Несмотря на известное ей нерасположение Флавию, Агриппина тем не менее ожидала, что ее введет хозяин дома, а не Метелла, эта ширококостная, преждевременно состарившаяся дочь лавочника (в действительности же Метелла происходила из семьи одного из значительнейших судостроителей и судовладельцев Остии), плебейка, ребенком чинившая старые паруса, а теперь задиравшая нос, точно ей еще в колыбели была обещана обшитая пурпуром тога ее будущего супруга.

подавив свой гнев, Агриппина заставила себя улыбнуться и величаво прошла в двери.

Обширный коринфский атриум Флавию Сцевина был уже полон блестящей толпой именитых гостей. Сенаторы с женами и дочерьми; всадники, отличившиеся на государственной службе; верховный жрец; жрец трех высших божеств, городской префект; несколько южно-италийских крупных землевладельцев; клиенты, занимавшие видное положение, – все они пестрыми группами двигались по наполовину покрытому навесом помещению.

В нескольких шагах от остиума стоял человек среднего роста, необычайно энергичной и резкой наружности. Сверкавшие умом глаза напоминали Сенеку, но в лице и в осанке выра-

жалось гораздо более непреклонной воли, чем у государственного советника. Эта выдающаяся личность был Тразеа Пэт, суровый судья Агриппины, пламенный патриот, возглавлявший все свои надежды и упования на Нерона и вынужденный видеть, как честолюбивая императрица-мать, вопреки явному и тайному противодействию, все-таки распоряжалась существеннейшими государственными делами, поощряла продажность и разврат, раздавала влиятельные должности своим жалким креатурам и даже государственного советника терпела только потому, что односторонность его философии делала молодого императора неспособным к проявлению каких бы то ни было практических способностей. При входе императрицы-матери Тразеа Пэт едва приметно наклонил голову, но на встречу молодой четы он поспешил с еще большей живостью, чем это сделал Флавий. Заключив в объятия стройную фигуру Нерона, он с благоговением трижды поцеловал его в лоб.

При виде этого благороднейшего из римлян Октавией овладело сильное волнение, грудь ее бурно вздымалась и, казалось, самообладание покинуло ее. Ее задумчиво-печальный взгляд скользнул по лицу супруга. Никогда еще он не был так несравненно прекрасен, и она готова была воскликнуть: «Я отдала бы все радости земные за то, чтобы в пятьдесят лет ты мог обернуться назад на такую же жизнь, какова жизнь этого Тразеа!»

После того как высокие посетители обменялись несколькими словами с избраннейшими из гостей, веселые звуки труб возвестили начало пира. Приглашенные потянулись парами в каведиум, где под темно-синим весенним небом были расставлены два длинных стола.

Вокруг дорической колоннады, на чугунных подставках горели факелы в рост человека и облака благовонного дыма мягкими волнами поднимались к уже темневшему небосклону. Наверху, на карнизе крыши, сверкали огни меньших размеров. При этом ярком освещении незачем было зажигать бронзовые лампы на роскошно убранных цветами столах. Серебряные чаши, драгоценные сосуды и изящные блюда были увиты душистыми гирляндами из роз и фиалок. Триста роскошных венков предназначались для увенчания пирующих. Лепестки роз и нарциссов усеивали пол, а колонны исчезали под зеленью плюща и аканта. Гости были размещены по местам весьма быстро благодаря проворству и ловкости главных рабов и их помощников. Из сада раздалась нежная южно-испанская мелодия, и в то же время рабы и рабыни начали разливать из этрусских кружек в матовые кубки золотое везувийское вино.

На почетном месте, во главе левого от атриума стола, восседала императрица-мать.

Справа от нее находился Афраний Бурр, слева – хозяин дома Флавий Сцевин.

Во главе второго стола сидел император между Октавией и супругой хозяина дома. Обычного, поперечного соединительного стола, на этот раз не было.

Так как одни лишь внешние стороны столов уставлены были скамьями, внутренние же, по римскому обычаю, оставались незанятыми, то Флавий и жена его Метелла не имели соседей. Ряд гостей с одной стороны заканчивался Бурром, с другой – супругой императора.

Соседом Октавии был стоик Тразеа Пэт; возле него сидела богатая египтянка по имени Эпихарис; потом Анней Сенека, а слева от него сорокалетняя жена одного из сенаторов.

С самого начала обеда, когда подали лукринские устрицы и азиатские морские тюльпаны, Пэт вступил в беседу с молодой императрицей.

Октавия обратилась к нему с пустым, вежливым вопросом о недавних играх в цирке, приведших весь Рим в лихорадочное волнение, так как до сих пор еще не выяснилось, кто победил: Фульгур ли Тигеллина или Флава Аницета. Для решения этого мирового вопроса назначен был комитет, где выслушивались свидетели, точно дело шло об уголовном процессе. Пока все шансы были на стороне Аницета, и это тем более сердило сторонников Тигеллина, что Аницет был морским офицером. Незадолго перед этим он командовал флотом при Мизенском мысе и по особому случаю проживал теперь в Риме, где немедленно начал оспаривать всеми признанное первенство агригента...

Тразеа Пэт улыбнулся на вопрос Октавии, точно не веря в искренность ее любопытства и отвечал таким же тоном, каким сказал бы: «Да, повелительница, погода превосходная».

Октавия рассеянно кивнула и задала второй вопрос; после нескольких уклонений разговор коснулся неистощимого предмета: императора Августа и его изумительных деяний для развития мировой империи.

В разговоре этом приняли участие Нерон и соседка Тразеа – египтянка Эпихарис. Даже сам государственный советник Анней Сенека скоро прервал пустую болтовню своей соседки слева, чтобы при случае вставлять меткие эпиграммы и замечания.

Серьезное направление беседы заставило Нерона почти забыть себя и вообразить себя в рабочем кабинете дворца, где в течение последних недель философ непрерывно толковал ему о том, что жизнь состоит в отречении, обуздании страстей и исполнении долга.

При этом воспоминании, среди празднично-веселого общества, на молодого императора внезапно напало тоскливое ощущение безграничной пустоты.

В самом деле, поразительные противоречия, открывшиеся его глазам, должны были взволновать художественно-отзывчивую душу Нерона.

Здесь, на верхнем конце стола, произносили чуть ли не целые поучения из области сумрачной Стой, а там дальше раздавались шутки и смех, подобно журчанью болтливого ключа в тибурских садах.

Красивые юноши предупредительно склонялись к своим цветущим соседкам, и между этими молодыми, веселыми парочками невидимо точил свои стрелы крылатый божок.

Пожилые гости оживленно толковали о прошлом, рассказывали забавные эпизоды из их службы в Сицилии или Малой Азии, осушали кубок за кубком и, как бы в извинение себе, цитировали слова греческой застольной песни: «Nyn chre methyskein...»

А вот сидит влюбленный, вечно ревнующий Ото, буквально беспрестанно поглядывающий на свою очаровательную жену Поппею Сабину!

Она была довольно далеко от него, за столом императрицы-матери, и рядом с ней сидел опасный Тигеллин! Поппея Сабина была действительно очаровательна с ее томными глазами и милой манерой склонять набок увенчанную цветами головку. В обладании ею Ото должен был найти полное счастье, и ревность его объяснялась именно этим счастьем: чем дороже сокровище, тем больше забота о его сохранности.

Софоний Тигеллин только что сделал какое-то, должно быть, очень приятное замечание, потому что Поппея, бросив из-под ресниц взгляд лукавого сатира, после мгновенного колебания обнажила свои жемчужные зубки и разразилась таким задумчивым смехом, что у ее обуреваемого опасениями супруга Сальвия Ото вся кровь бросилась в голову.

До сих пор Нерон полурассеянно смотрел на смеющуюся красавицу; теперь же взор его остановился на ней с большим вниманием.

Через двадцать лет цветущий ротик этой самой Поппеи Сабина будет обрамлен отвратительными морщинами, лучезарные глаза покраснеют, розовые щечки иссохнут... Лицо ее станет похожим на лицо облысевшего философа – советника Сенеки...

Но тогда она по праву скажет себе: «Я насладились всем, что мне дала эта преходящая жизнь! Я выпила чашу до дна, прежде чем безжалостная судьба вырвала ее из моих рук! Я не знала страданий из-за того, что называется идеей!»

Мысли императора, казалось, нашли себе таинственный отголосок в душе Поппеи. Доселе всецело предававшаяся обаянию Тигеллина, она вдруг взглянула на Клавдия Нерона и встретила его печально-задумчивый взор.

Яркая краска вспыхнула на ее лице; голова, шея, даже плечи покрылись румянцем, а при мысли, что Нерон должен это заметить, она пришла в неопишное смущение, изумившее Тигеллина, который шепнул:

– Госпожа, что случилось? Или прекрасная Поппея нездорова?

Она быстро овладела собой.

– Вечный смех бросился мне в голову, – шутливо отвечала она.

– О, я понимаю упрек, – возразил Тигеллин. – Но видишь ли, благородная Поппея, моя должность становится такой серьезной, торжественной и возвышенной, что по временам я должен давать волю моим порывам. Смех сделался нынче редкостью в обиходе у цезаря. Если это еще продлится, то я буду поглощен бездной меланхолии или же примкну к стоикам.

– Это звучит крайне смешно.

– Ты думаешь? Но я говорю правду. Я примечаю свое духовное окостенение. Поэтому я и пользуюсь всякой возможностью и случаем, как например сегодня, чтобы помочь такой прелестной эпикуреанке, как Поппея, в применении на практике ее житейской мудрости.

– Я эпикуреанка? Впрочем, пожалуй... Почему бы мне не быть ею? Разве жизнь наша не достаточно мимолетна? Стоит ли печалиться? Стоит ли еще сгущать ее мрак? Как жаль цезаря, которого Сенека втянул в эту пустыню! Нерон так молод и создан для счастья! Посмотри на его глубокие черные глаза! Они божественны!

– Какое воодушевление! Если бы ты думала обо мне хоть наполовину так благосклонно, клянусь Зевсом, я совсем обезумел бы от счастья и блаженства!

– Не притворяйся! – отвечала Поппея. – Ты, общий любимец, в одном этом каведиуме насчитывающий целые дюжины приятных воспоминаний! Ты, чьи заманчивые приключения известны даже в далекой Испании и Лузитании... Но оставим этот опасный предмет! Лучше последуй дружескому совету, – потому что я тебе друг, несмотря ни на что...

– Весьма обязан! И ты советуешь мне?..

– Основательно противодействовать влиянию Сенеки и его философской бессмыслицы.

– Но как же сделать это?

– Смешно! Убеди императора, что можно быть великим правителем, замечательным мыслителем и благодетелем своего народа, оставаясь в то же время рассудительным человеком! Смотри, вот опять черты его подергиваются дымкой печали, которую я замечаю уже не впервые. Право, если бы меня не удерживали обычаи и глупые общественные приличия, я встала бы без всяких околичностей, положила бы ему руки на плечи, и... и... утешила бы его.

– Да? А что сказала бы ты ему?

– Цезарь, сказала бы я, отчего болит твое сердце? Отчего ты не смеешься? Отчего нахмуриваешь лоб? Оглянись вокруг себя! Ты окружен молодостью, веселостью и красотой! Наслаждайся вместе с нами тем, что нам приносит крылатый час! Будь человеком среди людей! Вот что я сказала бы ему, вкрадчиво и искренно, и, внимая мне, быть может, он сообразил бы, что ведущую к вечному мраку дорогу разумнее усыпать розами, чем слушать глубокомысленные размышления своего министра и при этой чудной музыке сидеть с видом осужденного.

Тигеллин усмехнулся.

– Это была бы действительно гениальная выходка, достойная нашей прелестной Поппеи! Так презри же общество и его глупые толки! Ступай и попытайся!

– Но легче сказать, чем сделать. Ты не принимаешь в расчет гнева моего мужа. Ото распял бы меня за это... Вообще прошу тебя, золотой Софоний, не склоняй ко мне так усердно твою умощенную благовониями голову! Я вижу, Сальвий Ото уже бросил на меня свой взгляд балеарского бойца... Ты ведь понимаешь? Взгляд, равносильный балеарскому свинцовому шару! Уже на днях, в доме Пизо, он нашел, что ты слишком глубоко заглядываешь мне в глаза. А ведь ты знаешь, я позволила тебе быть только моим братом и другом...

Тигеллин нахмурился.

– Я позабыл, – насмешливо отвечал он. – Прости за минутную забывчивость. Ты была так... оживлена, говоря о Клавдии Нероне. Императору-философу, которого тебе хочется обратить на путь истины, ты, конечно, позволила бы больше, чем ничтожному агри-гентцу. Это я прекрасно понимаю! Каждому по чину и достоинству!

– Что такое? Что дает тебе право на эти злые замечания? Обуздай свой язык, бесстыдный человек! Хотя все привыкли многое прощать тебе, но нельзя же прощать все!

И снова устремив на Нерона полустыдливый взор, она вздохнула и мечтательно, как бы говоря сама с собой, продолжала:

– Вот разница между чистотой и испорченностью. Цезарь говорил со мной всего лишь три или четыре раза в жизни: но будь он в десять раз ближе ко мне, чем этот ужасный Тигеллин, все-таки я уверена, никогда он не принял бы такого нахального тона. Он уважает, он чувствует, он понимает. Он бог там, где вы все только бранные, рожденные из праха люди!

Между тем Нерон с каждой минутой становился все молчаливее и мрачнее. Он уже не слушал возвышенную беседу Октавии с Тразея Пэтом. В ушах его шумели лишь волны звуков без смысла и значения, глухих и далеких, словно доносившихся из бесконечного пространства. Мысли его опять перенеслись к тому дню, когда он помиловал отпущенника Артемидора. Он снова видел очаровательную девушку с чудными белокурыми волосами и сияющими голубыми глазами. Он слышал ее сердечный голос, моливший о сострадании. Да, это была она, единственная, несравненная.

Она упала на колени перед императорскими носилками, простирая свои белоснежные руки, – он видел все это, как на картине! Вдруг прекрасный образ исчез и его заменил еще прекраснейший... О! Этот час истинного счастья! Он стоял в палатке египетского кудесника рядом с Актэ, и тот же голос звучал еще глубже и обворожительнее в его трепетавшем страстью сердце.

Актэ! Невыразимо любимая Актэ! Зачем ты исчезла так же, как появилась, подобно однодневному весеннему цветку или мимолетному дыханию эфира, умчавшемуся, едва коснувшись пылающего лба?

Странно! В это мгновение ему показалось, что наконец он нашел разгадку: она бежала от него, от любви к нему, а не к кому-нибудь другому. Она поняла его обожание и хотела избежать предстоявшей неминуемой страшной борьбы.

Он взглянул на горделивую Агриппину.

Да, неумолимая мать осудила бы его любовь!

Отпущенница, бывшая рабыня!

Она едва позволила бы ему сделать ее только своей возлюбленной, а женой – никогда. Конечно, Актэ не могла знать, на что он дерзнул бы ради нее; она не подозревала, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, ни перед каким разрывом, только чтобы завоевать ее для себя. Безумная! Зачем скрылась она с этим загадочным «Прощайте все!» Одна строка; одно откровенное слово – и все могло бы еще устроиться.

Он думал и думал, пока им вновь не овладели сомнения. Наза-рянин-мыслитель Никодим утверждал, что бегство Актэ для него совершенно необъяснимо. Даже он не мог понять эту девушку, которую он однако знал уже давно.

Загадка так и оставалась загадкой для печального императора. Он сознавал только одно: что равнодушен ко всему миру, в котором для него существовало только одно счастливое и вместе с тем горестное воспоминание. Какая грустная, безутешная участь! Будь Актэ его женой вместо женщины, совершенно его не понимавшей и при всей своей сердечной доброте оскорблявшей его заветнейшие чувства, как благодатно расцвело бы божественное создание его царствования! Счастье и любовь были бы его вдохновенными руководителями в том, что он совершал теперь с таким трудом и усилиями, движимый лишь холодным учением своего советника и фантастическими намеками Никодима.

Да, он победил бы! Он сделался бы бессмертным творцом славной эры свободы и братства людей! Назарянское небо с его кротко-ясным примирением ведь было действительностью в глазах белокурой Актэ!

Нерон сжал рукой лоб.

Он, первый между римлянами, повелитель обширного, могучего государства, простирающегося от столпов Геркулеса до отдаленной Месопотамии, обожаемый своим народом, богатствами превосходящий царя Лидии, молодой, полный бурных жизненных сил в стремлении к всему доброму, благородному и прекрасному – каким бедным и одиноким был он на своем лучезарном престоле!

Внезапно наступившая тишина заставила его очнуться.

Веселый шум, наполнявший украшенный цветами каведиум, мгновенно замолк.

Флавий Сцевин, высоко подняв правой рукой увитый розами кубок, провозгласил тост за всеобожяемого, августейшего, счастливого Нерона.

Ловким оборотом вплетя в этот тост Октавию и императрицу-мать, он снова обратился исключительно к высокой особе императора, призывая всевозможные благоговения богов на его дорогую, лучезарную, юношескую главу. Буря восторженных кликов последовала за мастерской речью, в которой особенно ярко вырезалось то место, где оратор произнес: «Нерон, Октавия, а за ними благородная мать, воспитавшая образец таких превосходных качеств».

Приверженцам Сцевина, враждебным императрице-матери, это за «за ними» показалось верхом ораторского искусства. В этих словах чувствовалось весьма прозрачное напоминание гостям и вообще всему Риму о необходимости деятельной поддержки противников Агриппины для освобождения Нерона от чрезмерного влияния честолюбивой и тиранической женщины.

В то же время это был первый после долгого промежутка ясный намек по адресу Агриппины, приглашавший ее к добровольному отречению от того, что римляне находили невыносимым игом. Теперь же этот намек имел еще другую цель.

В начале следующей недели в сенате назначено было важное политическое совещание.

Дело шло о раздоре с соседним германским племенем хаттов и легко могло привести к объявлению войны, несмотря на старания римского коменданта крепости Могунтии по возможности удовлетворить справедливым требованиям германцев.

Все надеялись, что из прямодушной речи Флавия императрица поймет общее желание видеть в сенате императора одного и освобожденного от ее опеки.

Оглушительные клики смолкли. Призвав на помощь все свое самообладание, Агриппина принудила себя улыбнуться, в то время как глаза ее метали пламя страшной ненависти. Каждый из гостей вылил в жертву богам по несколько капель ароматного вина, после чего с новой силой раздались возгласы:

– Да здравствует цезарь! Да здравствует всеобожяемый, счастливый!

Медленно встав, Нерон молча благодарил гостей движением руки; искренность этих проявлений тронула его до слез, и он не мог овладеть своим волнением. Но слезы его были вызваны чем-то иным, неизмеримо далеким от шумного праздника: то было воспоминание о светлом образе цветущей девушки, горячо любимой и потерянной навеки.

Глава VIII

Пир кончился. Гости во главе с Метеллой, сопровождавшей императорскую чету, направились в парк через широко раскрытые внутренние покои.

На просторной площадке, как раз позади дома горели бесчисленные канделябры под красноватыми стеклами. Дальше, вверх по холму, в волшебном полусвете мерцали аллеи громадных деревьев, обсаженные лаврами, анемонами и акантом.

Гости разделились на оживленные группы, приветствуя еще не примеченных друзей и подставляя разгоревшиеся лица приятному ветерку, приносившему с цветочных клумб волны благоуханий. Всем было приятно освобождение от обеденного церемониала, и всякий спешил отдохнуть и собраться с новыми силами для наслаждения тем, что еще было впереди.

Прекрасная супруга Ото, Пoppея Сабина, опершись роскошной рукой на плечо своей компаньонки, финикианки Хаздры, медленными шагами направилась к парку.

– Уж пора было нашему амфитриону отпустить нас, – глубоко вдыхая прохладный воздух, сказала она. – Какая чудная ночь!

– Чудная, как сновидение! – прошептала страстная Хаздра.

– Что с тобой, дитя? Ты дрожишь?

– Я видела его...

– Кого? Твоего преторианца?

– Моего божественного Фаракса! Пока мы сидели за столом, он два раза прошел по каведиуму.

Пoppея засмеялась.

– Неужели же это правда? – с изумлением спросила она. – Моя хорошенькая куколка, маленькая, гибкая финикианка действительно влюбилась в солдата? И еще в такого колосса? Клянусь Эросом, я предполагала в тебе лучший вкус, Хаздра!

– А я, госпожа, клянусь тебе Мелькартом, богом моих отцов, что никакой смертный не может сравниться в благородстве с очаровательным Фараксом.

– Ты влюблена и потому безумно было бы осуждать твоего Фаракса. И я также вполне уверена, что ты вышла бы за него замуж, будь он хоть раб или палач. Если уж ты себе заберешь что-нибудь в голову...

– Да, госпожа, это так. Я безрассудное создание, и меня изумляет то, что ты еще терпишь меня, несмотря на мои ошибки и глупости.

– Я достаточно зорко смотрю, чтобы маленькая варварка исподтишка не перещеголяла меня, вообще же мне нравится твоя бурная натура, при случае прикрывающаяся оболочкой кротости и добродушия. Я ведь знаю, что ты любишь меня и что в нужде я могла бы смело положиться на тебя.

– Моя жизнь принадлежит тебе! – воскликнула Хаздра.

– Благодарю. Но скажи, имеешь ли ты доказательства взаимности божественного Фаракса?

– Да, госпожа. Недавно, когда я случайно встретила с ним...

– Он посмотрел на тебя, как британец на Капитолий. Это я уже знаю. Но по-моему этого мало.

– По-моему, также. Сегодня, однако, он бросал на меня такие взоры...

– Как по крайней мере три британца! – засмеялась Пoppея.

– Даже больше того. Он велел одному из слуг передать мне полоску папируса...

– Дерзкий!

– Истинная любовь всегда смела, – возразила финикианка. – Вот, благороднейшая Пoppея, прочти и скажи мне твое откровенное мнение!

Пoppея взяла записку и при мерцающем сиянии светильника разобрала следующее:

«Фаракс, преторианец, с глубочайшим уважением приветствует финикианку Хаздру.

Надеюсь, что финикианка Хаздра будет благосклонна к преторианцу императрицы-матери, так как он все-таки оказывает ей большую честь. Мы, преторианцы, не то что простые солдаты, стоящие в нарбонензийской Галлии или в Азии. Мы особые избранники, как это утверждает и начальник наш, Афраний Бурр. Поэтому, если я решаюсь, о, очаровательная Хаздра, говорить тебе о моей любви, то это не то, что искательство простого солдата, а совсем наоборот. Я тебя очень люблю. Пять раз видел я тебя. Ты мила, как роза, и мне этого довольно. Объявляю еще, что, говоря без бахвальства, я в большой милости у императрицы Агриппины. Позавчера светлейшая намекнула мне, что если я буду так продолжать, то мне не долго придется ждать до повышения в центурионы. А центурион ведь уже почти что военный трибун. Я

хотел сегодня выразить тебе мои любовь и уважение, чтобы спросить тебя, нравлюсь ли я тебе. Сердце девушек часто бывает так прихотливо. Ответь мне поскорее. Я люблю тебя горячо и посылаю привет в радостной надежде».

– Ну что ты скажешь? – прошептала Хаздра.

– Он делает тебе предложение, – равнодушно отвечала Поппея.

– Ты думаешь, его намерения честны?

– Несомненно. Если ты этого желаешь, тебе стоит только сказать да. Но все-таки я полагаю, что хорошенькая Хаздра, подруга Поппеи, размыслит, прежде чем выйдет замуж за такого плебея.

– Ничуть! – вскричала финикианка, пряча записку. – Лучше сегодня, чем завтра! Плебей! Что мне до его происхождения, когда он сам волнует мое сердце?

Первобытная пылкость девушки тронула холодную натуру Поппеи.

– Мечтательная дуручка! – насмешливо сказала она.

– Какая я есть, такая я и есть, – возразила Хаздра. – И я не понимаю, как может говорить так Поппея, сама знакомая с любовью. Конечно...

– Ну, кончай же!

– Я боюсь, ты сердишься на меня...

– Могла ли ты когда-нибудь упрекнуть меня в мелочности? Говори!

– Хорошо. Я хотела сказать, что я, Хаздра, понимаю любовь иначе, чем Поппея Сабина. Ты любишь своего супруга Ото, но ты также слушаешь любезности Тигеллина, Кая и Люция, Тита и Тация... Вот это, светлейшая Поппея, для меня было бы невозможно; я могу любить только одного, а другие для меня не существуют.

– Ты можешь любить только одного, – глухо прошептала Поппея. – Хаздра, дитя, клянусь богами, я не знаю, жалеть ли мне тебя или завидовать тебе. Я не люблю никого, никого, даже цезаря, которого хочу покорить...

– Как понимать твои слова?

– Ты должна узнать все, так как ты можешь мне понадобиться раньше, чем ты ожидаешь. Видишь, Хаздра, во мне живет только одно желание: первенствовать. Сначала над женщинами. Я хочу быть прекраснейшей между ними и возбуждать общую зависть. Этого я уже достигла. Весь Рим у моих ног. Я не пренебрегаю никакими стараниями для того, чтобы сохранить и еще возвысить дарованную мне природой красоту...

– Это я знаю. Ты употребляешь драгоценные притирания, маски из теста, молочные ванны... И я знаю также, что ты прекраснейшая из прекрасных. Одна только императрица Октавия, быть может, могла бы поспорить с тобой, если бы не ее вечная бледность, сдержанность и молчаливость.

– Октавия! Не произноси этого имени! Знаешь ли ты, почему я вышла за Сальвия Ото? Из любви? О, младенческая простота! Я рассчитывала приблизиться через него к его другому императору и овладеть его сердцем, отодвинув на задний план бледный призрак Октавии... Тише! Вот идет Софоний Тигеллин с Ацерронией. Завтра ты узнаешь больше. Мне незачем предписывать строжайшее молчание моей умной Хаздре.

Они повернули к дому, между тем как агригентец с Ацерронией прошли в парк в стороне от них.

– Скажешь ли ты наконец в чем дело? – нетерпеливо спрашивала фрейлина императрицы-матери. – Что? Идти с тобой в вязовую аллею? Ни за какие сокровища Лидии! Агриппина и то будет удивляться...

– Агриппина занята горячей беседой с Сенекой, а уж кого он захватил в свои философские когти...

– Философские когти лучше когтей хищника. Ты коршун, Софоний. Я тебе ни на волос не доверяю. Признайся, что удивительная тайна, которую ты хотел сообщить мне, была пустым предлогом!

– Выслушай и суди сама! Даллас, твой прежний Паллас...

– Мой Паллас? Советую тебе припрятать такие выражения для тех, кому они могут нравиться; например для Пoppей Сабины...

– Ага! Ты ревнуешь...

– Я? Да разразит Юпитер свои громовые стрелы над твоей пустой головой! Я ревную? Уж не к тебе ли, всесветному глупцу, бегающему за каждой юбкой? Для меня ты такой же чурбан, как Макк в ателланских играх! Ну, так что же этот Паллас, до которого мне так же мало дела, как тебе...

– Да? Краснокудрой Ацерронии нет дела до Палласа? О, ты невинность! Как будто вся Италия, со всеми ее островами, не знает о вашей тайной помолвке!

– Это бессовестная ложь! Кто это говорит? Назови мне сплетника, чтобы я могла привлечь его к суду!

– Но ведь ты не будешь опровергать...

– Назови мне негодяя! – яростно повторяла она.

– Это он сам...

– Как он сам? – прервала она его в волнении, не замечая, что без всяких лидийских сокровищ уже вошла за хитрым агригентцем в темную аллею.

– Он сам, – продолжал Тигеллин, неожиданно с непреодолимой силой привлекая ее к себе, – он сам хотя еще не испытал, как целуют губы рыжей пантеры, но твой превосходный друг Тигеллин желал бы наконец лично сделать этот опыт... Не сопротивляйся, прекрасное дитя! Ведь я знаю, что Ацеррония смертельно влюблена в меня.

– Войдем по крайней мере в кусты, – покорно сказала она. – Так вот смысл твоих речей! А история про Палласа...

– Была только предлогом, – прошептал Тигеллин. – Пойдем и не шуми! Еще один поцелуй, моя голубка. Вот так, прелестно! Скажи теперь, что ты хочешь быть счастливой со мной хотя бы один блаженный, мимолетный день. Говори же, очаровательная пантера! Я люблю тебя безгранично!

– Да, – прошептала Ацеррония.

– Какое счастье даешь ты мне! – восторженно воскликнул агригентец.

Приподняв обеими руками ее пылавшую голову, он сразу после банальных нежностей опытного соблазнителя вдруг получил полновеснейшую из пощечин, когда-либо достававшихся на долю этого нахального волокиты.

В то же мгновение вырвавшись от него, Ацеррония с проворством хорька бросилась бежать в освещенную часть парка.

– Маленькая бестия! – усмехнулся агригентец. – Такой же понятный мимический язык, быть может, избавил бы бедную Лукрецию от самоубийства. Отвратительно! Я не получал такой затрещины с тех самых пор как вышел из школы. Но все равно. Я ей дам себя знать! Как раз теперь она меня и манит, а ее поцелуи, даже если и принужденные, все-таки удивительно походили на искренние...

Напевая греческую застольную песню, он медленно последовал за своей удивительной собеседницей.

Между тем Ацеррония присоединилась к первой попавшейся ей группе, центром которой был начальник мизейского флота Аницет. Разговор, естественно, шел о спорной скачке между Фульгуром Тигеллина и превосходной чистокровной кобылой моряка.

«Аницет, – хотела было вскричать разъяренная Ацеррония, – я дала богам великий обет, если они решат спор в пользу твоей прекрасной Флавы!» Но слова замерли на ее губах, она произнесла только имя Аницета и, когда он вопросительно взглянул на нее, прибавила тихо:

– Разве судьи уже вынесли приговор?

Все улыбнулись, даже отпущенник Артемидор, скромно стоявший тут же рядом с рабом Милихом. Внезапное вмешательство рыжеволосой испанки действительно вышло очень неловко; всем было понятно, что произнося эти слова, она хотела сказать что-то совершенно другое.

Спорное состязание между Фульгуром Тигеллина и Флавой Аницета было известно во всех подробностях последнему рабу семихолмного города и все с таким лихорадочным нетерпением ожидали решения знатоков, что быстроглазая Ацеррония тотчас смекнула свой промах. Вопрос ее должен был быть принят или за недостаток такта, или же присутствующие вывели коварные заключения из ее видимого замешательства.

Но никто не знал, что же так внезапно напугало ее...

Странное, загадочное видение пробудило ужас в сердце обыкновенно столь смелой пантеры.

Аницет стоял, прислонившись к статуе Помоны. Когда Ацеррония произнесла его имя, ей почудилось, что глаза его закрыты, как у мертвого, из густых волос струится зеленоватая вода, а широкий нос и полуоткрытый рот как бы застыли в предсмертной судороге. Помона же, величественно возвышавшаяся позади него, приняла черты лица Агриппины.

Ацеррония поспешно отступила; через мгновение страшное видение исчезло, оставив дикий ужас в сердце девушки, тотчас же решившейся обратиться за истолкованием и советом к египтянке Эпихарис, известной своим искусством во всевозможных предсказаниях.

– Я не вижу в этом ничего дурного, – улыбнулась Эпихарис. – В течении года, ты с твоей царственной повелительницей Агриппиной совершишь особенно блестящее морское путешествие, в котором начальник флота Аницет будет играть роль Посейдона, охраняющего и благополучно приводящего вас в гавань. Быть может, вас застигнет буря, но ты ведь видела сама, что ярость ее была все-таки не в силах свергнуть гордую Помону, императрицу-мать, освежающую всех нас своими плодами.

– Благодарю тебя! – вежливо сказала Ацеррония. – Но все-таки тайное смущение не совсем покинуло меня. Этот страшный Аницет...

– Человек в высшей степени образованный, – прервала ее Эпихарис. – Кто знает, Ацеррония, чем было вызвано твое видение? Любовь порождает иногда странные призраки.

– Любовь?

– Ну да! Сейчас шла речь о его горячей, страстной любви к тебе, а нынче ведь мужчины начинают любить, только когда они достаточно уверены во взаимности.

– Помогите мне, боги Лациума! Я, я... Нет, это неслыханно! Вот попалась между Сциллой и Харибдой! Здесь Тигеллин, там Аницет! Один – легкомысленный вдовец, другой – женатый человек! Один дерзок, как нищий возле цирка, другой – пронырлив и хитер, с широким как у эфиопа носом! Так это-то ваша знать, ваше несравненное римское общество? Ну, право, я предпочитаю солдата из преторианской гвардии! Например, вот этого, что разговаривает теперь с противной Хаздрой...

– Неужели?... – улыбнувшись, спросила египтянка,

– А почему бы нет? Во всяком случае, он наполовину меньше изолгался, чем любой знатный римлянин и, конечно, в тысячу раз интереснее этого последнего!

– Разве ты знаешь его?

– Да, узнала случайно. Его зовут Фаракс, и он явный любимец императрицы.

– Октавии?

– Что за вздор! Говоря об императрице, я всегда подразумеваю одну Агриппину.

Тонкая ироническая улыбка пробежала по губам Эпихарис.

Громкие звуки рогов, к которым присоединился веселый сицилианский плясовой мотив, прервал их беседу.

– Пойдем на наши места! – сказала египтянка.

В сопровождении приблизившегося к ней государственного советника, она направилась к овальной, усыпанной песком арене.

Пиршество в перистиле было не особенно продолжительно. Так называемый конвивиум, коммиссацио, – веселое продолжение его, сопровождаемое оживленной беседой, должно было происходить здесь, в более непринужденной, но зато изысканнейшей форме. Сцевин приказал воздвигнуть под своим знаменитым столетним кленом особую трибуну, с перил которой свешивались голубые индийские ковры с золотыми шнурами и кистями.

Направо и налево от этой роскошной ложи, подобной императорской ложе в цирке, правильными полукругами шли обитые мягкими подушками седалища для остальных зрителей. Вне этой, почти замкнутой, круглой площадки, недалеко от средней аллеи сада, для тех из гостей, которые предпочитали бродить по благоухавшим весной дорожкам парка и заглядывать на арену лишь во время исполнения особенно великолепных номеров, были расставлены красивые бронзовые стулья с ярко-красными кожаными подушками, полукруглые диваны и мягкие софы.

Перед каждым местом, на драгоценном моноподиуме с подставкой из слоновой кости, стояли чаши с золотыми ободками, свежие венки, по корзиночке с пицентинским печеньем и по дроковой плетенке, полной ионийских фиг и кампанского миндаля.

Рабы в цветных одеждах беззвучно скользили между гостей, наполняя их кубки и с услужливой поспешностью предупреждая их малейшие желания. По обе стороны императорской трибуны почетным караулом выстроился отряд преторианцев и в числе их Фаракс, умное лицо которого выгодно выделялось среди заурядных физиономий его товарищей. Остальные гвардейцы скромно и, по-видимому, без всякой задней мысли разместились где попало, или еще оставались в обширном триклинииуме, где Милих, главный раб Флавия Сцевина, угощал их номентинским вином.

Спустя пять-шесть минут из палатки вблизи постикума на арену вышла прекрасная арфистка Хлорис и, звучно ударив по струнам, запела греческий гимн. Гости слушали ее не слишком внимательно; только небольшая часть их успела занять свои места, и между ними, конечно, были императрица-мать и серьезная Октавия.

Но и они казались рассеянными. Молодая императрица вопросительно смотрела на своего супруга; он стоял с агригентцем далеко в стороне, прислонившись к стволу пинии и не вызывая ни малейшего желания занять приличествовавшее ему место между матерью и супругой.

Бедная Октавия теперь заметила, что в последние дни Нерон казался более обыкновенного расстроенным, печальным и как бы обуреваемым внутренней борьбой...

Если бы он только захотел открыть свое сердце ей, так много его любившей! Но он не допускал в ней проявления участия к его печали и когда, не подозревая о ее причине, она благочестиво советовала ему прибегнуть к богам, чело императора омрачалось еще больше, а на лице мелькало выражение уничтожающего презрения или мрачной ненависти.

Неужели он действительно враг богов? Или ей суждено было вызывать его неудовольствие каждым своим словом, хотя бы произнесенным с самыми благими намерениями? Неужели она была тяжелым бременем, препятствовавшим юному мощному орлу взлететь в ясную высь довольства и счастья? Слезы навернулись на ее глаза. Занятая своими мыслями, она не видела, что все еще смертельно бледная Агриппина сидела, подперши голову рукой и тихо шевеля губами. Тост Флавия Сцевина, подобно разъяренному скорпиону, язвил ее честолюбивое сердце, и, смертельно оскорбленная, она уже измышляла отмщение. Ее по временам улыбавшийся рот и трепетно раздувавшиеся ноздри уже выражали отвратительное торжество.

Но когда к ней подошел Бурр, лицо этой бесподобной актрисы просияло. Начальник преторианцев не должен догадываться о поглощавших ее мыслях.

– Ты прав, Бурр, – милостиво сказала она. – Эта девушка – большой талант. Я была совершенно увлечена потоком ее мелодии... Но вот она уже кончила!

Кругом раздались рукоплескания; арфистка вежливо поклонилась, но не ушла в палатку.

Теперь площадка была полна зрителей; только человек сорок еще гуляли в одиночку и парами по аллеям, или, беседуя, сидели в отдалении от общего круга.

К этим последним принадлежал и Ото, нежно, но ревниво сжимавший руки своей жены Поппеи и упрекавший ее в чрезмерной благосклонности к человеку с такой дурной славой, как Софоний Тигеллин.

– Ты знаешь, я доверяю тебе, хотя, быть может, это и безумно, ибо сердце женщины подобно облачку, гонимому южным ветром. Оно меняется каждую минуту. Но ты, сладчайшая Поппея, умеешь смотреть так кротко, так обворожительно, что я совершенно теряю рассудок и, вопреки благоразумию, считаю тебя непоколебимо верной мне.

– Вопреки благоразумию, говорит мой обожаемый Ото! – лукаво произнесла она, бросив на него такой волшебный, лучезарный взгляд, что он едва мог удержаться от страстного желания заключить ее в свои объятия.

– Дивная, роскошная роза, – с горячей любовью прошептал он, – не безрассудно ли проводить этот божественный вечер в шумной толпе, вместо того чтобы наслаждаться счастьем в сладкой тиши нашего дома? О, Поппея, глядя на твой улыбающийся ротик, на твою стройную фигуру, я всегда вспоминаю Елену, повсюду возбуждавшую бури страстей...

– Неудачное сравнение! Елена была потерянное создание...

– Ты права. Сравнение неудачно. Я должен был бы сказать: ты прекрасна, как Елена, и верна, как Пенелопа. Но именно поэтому, дорогая, я избегаю даже малейшего повода сомневаться в тебе. Я не могу переносить, когда ты так многозначительно смотришь на такого известного негодяя, как агригентец. Я знаю, он любезен, умеет льстить и в то же время казаться почтительным, а это так нравится женщинам. Неправда ли, из любви ко мне, ты обещаешь избегать его впредь? Уж лучше старайся произвести впечатление на императора Нерона.

– Ты говоришь серьезно? – спросила пораженная Прппея.

– Совершенно серьезно. Постарайся развеселить его! Заставь его полюбить жизнь! Оттесни от него ужасного Сенеку! Вот это можно было бы назвать заслугой!

Вся вспыхнув, молодая женщина покачала головой и задумчиво опустила свои светло-серые глаза.

– Поппея не навязывается, – проговорила она. – Если бы мое общество нравилось цезарю хоть на половину столько, сколько твое, я высоко оценила бы это преимущество. Но увиваться около него, как мотылек около огня, – нет, дорогой Ото, для этого я слишком горда и... равнодушна...

– Ты забываешь, что я всегда считался его другом и знаю его с детства...

Серебристо-звучные струны арфистки Хлорис зазвучали снова и на этот раз к ним присоединился ее мягкий голос. Все разговоры смолкли.

Чудно пела эта гречанка в светло-желтой одежде, прозванная золотой молодежью Рима «родосским соловьем». И с какой благородной осанкой стояла она, держа в правой руке плектрум, а в левой подвязанную бледно-желтыми лентами девятиструнную арфу, с желтыми розами в черных, как ночь, волнистых волосах! Это была фигура гомеровских времен!

В противоположность торжественному, громкому гимну, она пела теперь меланхолическую, жалобную песнь, в звуках которой слышались рыдания об утраченном счастье.

Мелодия эта произвела потрясающее впечатление; испорченное, развращенное до мозга костей, за минуту перед этим весело смеявшееся, шутившее и с увлечением предававшееся любовным интрижкам, общество мгновенно смолкло.

Пьяный сенатор с уродливым лицом фавна, в собраниях на капитолийском холме при каждом удобном случае напоминавший об уважении и страхе к бессмертным богам, а теперь только что шептавший фривольные намеки своей, сидевшей подле него, четырнадцатилетней племяннице, внезапно оборвал грязный разговор и со стоном откинулся на подушки, как будто услышав страшное предостережение с высот Олимпа.

Нарумяненная кокетка, назначавшая сегодня уже четвертое свидание, тщетно старалась оставаться глухой и равнодушной к мягкому и в то же время звучному голосу, певшему о самом заветном и священном чувстве человеческого сердца. Бесстыдные, пресыщенные юноши, среди плебейских гетер чувствовавшие себя гораздо более уместно, чем в своем семейном кругу, никогда не заглядывавшие в зал суда, но не пропускавшие ни одной пантомимы, ни одной оргии у модных львиц полусвета, – невольно смягчили свой нахальный взгляд и прекратили язвительное перешептывание, которым дерзко встретили появление молодой арфистки.

Короче, ее торжество было полным. С тех пор как она ступила на почву Италии, она никогда еще не пела так вдохновенно; и когда по окончании ее чарующей песни отпущенник Артемидор, по приказанию своего господина Флавия Сцевина встав на колени, подал ей золотой венок, присутствующие разразились восторженными рукоплесканиями и громкими возгласами одобрения.

– Сладчайшая Хлорис, – шепнул Артемидор так тихо, что его слышала лишь одна прелестно зарумянившаяся девушка, – возьми и скажи, что тебе дороже – этот драгоценный венок или мое страстно бьющееся сердце?

– Твое сердце, ты ведь это знаешь! – прошептала певица.

И принимая роскошный дар, она тихонько пожала руку затрепетавшего от восторга Артемидора.

– Какое неизмеримое счастье быть так любимым! – тихо произнес он, изящным движением поднимаясь с колен. – Прежде чем кончится год, она будет моей! А я думал, что мне суждено умереть вдали от нее! Вдали от нее! Эта мысль была ужаснее самой смерти.

– Какой красавец этот Артемидор! – шепнула восемнадцатилетняя жена сенатора своей ровеснице-соседке. – Жаль, что он не свободный по рождению!

– Почему же?

– Кажется, понятно почему...

– Что касается меня, то если бы мне пришлось выбирать между ним и прославленным Софонием Тигеллином, конечно, я предпочла бы Артемидора...

– В самом деле?

– Без всякого сомнения. Ты ведь понимаешь меня? В качестве мужа или даже постоянного... друга, Тигеллин был бы мне приятнее. Но при случае, как мимолетная прихоть... И к тому же, сознайся сама, ведь всякие предрассудки бессильны перед увлечением. А если супруг и поймал бы нас, то, в сущности, ведь ему все равно, благородный наш возлюбленный или нет.

Бесстыдные женщины засмеялись циничным смехом, исказившим их красивые, молодые лица.

Хлорис же, счастливая сознанием своего артистического триумфа и еще более – любви Артемидора, трижды поклонилась на все стороны и, обратившись к оживленно рукоплескавшей ей императрице-матери, воскликнула по-гречески:

– Да сохранит Зевс мать отечества! – после чего скрылась в палатку, уступив свое место двум гордым бойцам-атлетам.

Прежде еще чем раздались оглушительные звуки духовых инструментов, которые должны были сопровождать борьбу, Нерон отошел от Тигеллина. Песня гречанки жестоко растравила рану его изболевшей души.

Нетерпеливым движением руки остановил он двух своих молодых друзей, намеревавшихся следовать за ним.

– Невероятно! – сказал один другому. – Даже здесь, в празднично разукрашенном саду Флавия Сцевина, он не может стряхнуть свою мрачность. Клянусь Эпоной, право, пора уже подставить ногу отвратительному Сенеке. В двадцать лет обладать рассудительностью и холодностью Зенона – это ни на что не похоже! Какую метафизическую задачу решает теперь этот мечтатель, если даже мы, самые воздержанные из его друзей, в тягость ему?

Да, цезарь решал метафизическую задачу и решал ее не в теории, а на практике: задачу настоящей, искренней любви, не способной дать ответа рассудку на вопрос: почему ты прилепился всеми силами души к девушке, едва мелькнувшей пред тобой и навеки исчезнувшей, между тем как вокруг тебя, подобно ожидающим садовника розам, цветут женщины такие же прекрасные, а быть может, и прекраснее ее? Почему всеми желаниями твоими владеет бывшая рабыня, в то время как у тебя есть подруга – Октавия, благородные черты которой все скульпторы Рима признают божественными?

Сама арфистка Хлорис, так глубоко потрясая сердце Нерона, несомненно была красивее Актэ.

И все-таки цезарь оставался нечувствителен к ее красоте. Волшебные чары ее искусства вызвали в нем с удесатеренной силой одно лишь мучительно-сладкое воспоминание со всеми его подробностями. Нерон не владел собой. Он должен был бежать от этого блестящего и оглушительно-шумного собрания, он должен был усмирить бурю, весь день непрерывно бушевавшую в его груди.

Гости, наверное, заметили бы его волнение, его слезы, теперь свободно катившиеся по его щекам, – а этого не должно быть. Он – цезарь, он должен уметь обуздывать не только парфян или хаттов, но и свое собственное я, со всеми его страстными, безумными порывами.

Ветер тихо и успокоительно шелестел верхушками деревьев, словно напевая колыбельную песню. Здесь скоро уляжется бурная страсть, ураганом кипевшая в его груди. Приди, священная, мирная ночь! Накинь твой темный плащ на страдания твоего любимца! Дай ему спокойствие, если уж счастье недоступно ему!

Глава IX

Незаметно для самого себя Клавдий Нерон углубился в темные аллеи.

Луна в своей первой четверти матово-серебристым светом обливала посыпанные песком дорожки, обсаженные здесь более молодыми и низкими деревьями.

Вдруг император вздрогнул. Позади лавров, мимо которых он шел, погруженный в свои думы, что-то зашевелилось, и, когда, прислушиваясь, он остановился, в кустарниках раздались человеческие шаги.

Клавдий Нерон был безоружен, а у монарха, даже самого лучшего, всегда есть тайные враги, ненавидящие его до глубины души и не пренебрегающие никакими средствами для его уничтожения. Но царственный юноша, в сознании всеобщего к себе доброжелательства, а еще более, быть может, благодаря врожденному мужеству, не ощутил ни малейшего смущения.

– Стой! – крикнул он тоном сдержанной угрозы. – Кто бы ты ни был, я, твой император, повелеваю тебе выйти сюда!

В кустах затихло.

– Ты слышал? – повторил цезарь. – Не упорствуй! Одно мое повеление – и ты будешь окружен, как зверь на облаве!

– Всемогуший цезарь, – прошептал трепещущий женский голос, – не гневайся на мою медлительность!..

– Актэ! Ты! Ты! – в безумном восторге воскликнул император. – Ты здесь? Во плоти? Живая?

Стройная фигурка осторожно высвободилась из кустарников. В следующий момент она уже была в объятиях цезаря, осыпавшего страстными поцелуями ее блаженно улыбавшиеся губы, словно одной этой минутой он хотел вознаградить ее за все прошлые муки.

– Актэ! – повторял он. – Божественная Актэ, неужели это действительно ты?

Он говорил словно в забытьи и недоверчиво, как будто считая все это одним лишь мимолетным сновидением.

Сначала она в сладком молчаливом оцепенении отдавалась его ласкам, не находя в себе силы к сопротивлению.

Наконец, стыдливо зардевшись, она оторвалась от его уст, но совсем освободиться из его объятий не хотела и не могла. Пылающая голова ее склонилась на плечо бесконечно любимого человека, чей образ она все эти месяцы носила в своем сердце с такой мучительной тоской.

Его жаркие губы прильнули к ее волнистым белокурым волосам, отливавшими золотом и серебром при свете луны.

Ему казалось, что после долгого отчаянного скитания по пустыне наконец он нашел цветок, благоухание которого должно было возвратить ему здоровье и жизнь.

Вдруг она отстранила его.

– Повелитель, ты бесчестишь себя! – почти безумно шепнула она. – Знаешь ли, что ты сделал? Ты, владыка мира, поцеловал рабыню!

– Да, да, я поцеловал Актэ! Я хотел бы крикнуть это всему свету с вершины Капитолия. Я был счастлив впервые с тех пор, как дышу!

– Счастлив, – правда ли это? – с лучезарным взором спросила она. – О, как чудно звучат эти слова! Но все равно! Если это и счастье, то оно позорно и греховно. Позорно – ибо я отпущенница и недостойна тебя. Греховно – ибо у Клавдия Нерона есть благородная, великодушная супруга, чье сердце разбилось бы, если бы она узнала о его вероломной измене!

– Октавия! – с невыразимой горечью воскликнул Нерон. – Я не выбирал ее: я принес безрассудную жертву государственному благу и желаниям моих советников. Но клянусь тебе, никогда не уступил бы я им, даже если бы сама Агриппина, моя светлейшая мать, на коленях молила меня, если бы только я мог угадать, где я встречу единственную обожаемую мной девушку! Актэ, как упорно разыскивал я тебя! Мои люди обшарили весь Рим! Сколько раз я лично расспрашивал о тебе твоего друга Артемидора! Все напрасно! Скажи, где же была ты? Зачем допустила ты любящего тебя человека потерять всякую надежду и тупо отдаться участи, которую едва ли теперь возможно изменить?

– Цезарь, я повиновалась голосу моей совести. При первом взгляде на тебя я почувствовала, что ты овладел всем моим сердцем и душой! Но в то же время я знала, что это безумие: простому полковому цветку стремиться к солнцу, сияющему в недостижимой эфирной высоте. Я полюбила тебя страшно, сильнее всяких слов...

Она снова на мгновение приникла к его плечу.

– Ты знаешь, повелитель, я христианка, – с достоинством выпрямляясь, продолжала она. – Наша религия и возлагаемые ею на нас обязанности тебе знакомы уже через Никодима и твоего советника Сенеку. Как христианка, я должна была бежать, ибо мы ежедневно просим Господа: «Не введи нас во искушение». В деле обращения, задуманном моими единоверцами, Никодим предназначил мне слишком опасную роль. Он говорил, что братья и сестры любили меня больше, чем других, за мое красноречие и умение убеждать людей. И я должна была найти доступ к сердцу сомневавшегося цезаря. Он, быть может, остался бы глух к серьезным увещаниям мужчин, и надо было приготовить его к принятию спасительной веры. О, повелитель! С самого начала я сознавала всю ложность этого пути, и все противоречие поступков Никодима с учением кроткого Искупителя, воспрещавшего смешивать мирские дела с делом религии. Окончательно убедившись в твоём опьяняющем, неотразимом очаровании, я твердо решила бежать, хотя бы это стоило мне жизни. Один блаженный час в палатке египтянина ясно доказал

мне, что я стою на краю гибели, и я бежала далеко от твоего пленительного образа, на север, в Фалерию, где сделалась служанкой у честных арендаторов.

Клавдий Нерон задумчиво смотрел на ее освещенное луной лицо.

– Но как явилась ты сюда? – после короткого молчания спросил он.

Актэ опустила глаза.

– Повелитель, ты заставляешь меня стыдиться; но я могу признаться и в этом. Уже целую неделю живу я в Риме. Одна знатная дама, случайно увидавшая меня проездом через Фалерию, возымела ко мне симпатию, и так как мне давно уже наскучило однообразие моей жизни, то я с благодарностью приняла предложение богатой сицилианки сделаться ее спутницей и чтицей. С ней приехала я сюда, а завтра ранним утром мы отправляемся в Капую по Аппианской дороге.

– Все это не объясняет мне нашей встречи в парке Флавия Сцевина.

– Ты не догадываешься? – застенчиво прошептала Актэ. – Я знаю через Артемидора, что ты, повелитель, будешь сегодня в гостях у Флавия Сцевина. Артемидор отворил мне калитку, ведущую сюда с вершины холма, и уже целый час я брожу по парку. Я хотела еще раз увидеть черты моего повелителя, прежде чем навеки обречь себя на безутешное одиночество.

– Так Артемидор знал, где ты? – с изумлением спросил император.

– Да, повелитель! Я давно дружу с ним; его господин, Флавий Сцевин, провел два лета на берегу Остии, где и у Никодима был дом. Я знала, что Артемидор встревожится об исчезнувшей Актэ гораздо больше, чем все другие. Поэтому я написала ему, что устроилась хорошо, и однажды, когда господин послал его по делу в Куру, он сделал крюк и навестил меня в Фалерии.

– Так вот его благодарность мне за спасение от смерти! – с горечью воскликнул Нерон. – Десять раз спрашивал я его: «Где Актэ?» и десять раз он уверял меня, что это ему совершенно неизвестно!

– Он поклялся мне молчать и знал о моих причинах!

– Он плут. Он обязан быть честным перед своим императором, спасшим ему жизнь. Когда я подумаю, что я потерял благодаря ему и его лжи, я готов собственноручно задушить его!

Молодой цезарь выпрямился, его уста грозно трепетали. Все муки последних недель, печаль о разбитой любви, грызущее душу недовольство выпавшей ему участи – играть роль властителя под вечным давлением людей и нравственных правил и втайне покровительствовать религии, которая теперь, воплощенная в образе Никодима, казалась ему почти ненавистной, – все эти чувства волновались, бушевали и боролись в его тяжело вздымавшейся груди.

Что это за благочестивая община, бремя за бременем нагромождавшая на его плечи и делавшая из Актэ орудие коварной интриги?

Ему неизвестны были кроткие, смиренные христиане, набожно собиравшиеся вокруг своих старшин, чтобы слушать предания о словах и деяниях Спасителя, исцелявшего слепых, утешавшего печальных, поучавшего народ с горы или мальчиком опровергавшего в храме ученых законников... Цезарь знал только хитрого фанатика, проповедовавшего, казалось, лишь одно – то, что всякие, даже самые низкие, средства годятся для достижения возвышенной цели.

Глубоко возмущенный император с равным ожесточением упрекал теперь и Артемидора за его братское покровительство Актэ, и Никодима за то, что он так бессовестно рисковал молодой девушкой. Резким движением откинув свои густые волосы, он сбросил с головы розовый венок, упавший к его ногам на росистую траву, и с внезапной нежностью взял Актэ за красивую, белую руку.

– Позабудем пережитые страдания! – сказал он с глубоким вздохом. – Ты пришла сюда для того, чтобы еще раз увидеть меня; ты меня любишь, сегодня, как и прежде, и, клянусь всем священным, судьба накажет меня, если я когда-нибудь снова отпущу тебя! Разве ты не видишь, Актэ, что нас свел Рок или, по-твоему, Провидение, именно теперь, перед самым часом разлуки, которую ты считала неизбежной? Дай обнять тебя, единственная, способная внести мир

в мою душу! Актэ, вечно любимая Актэ, хочешь ли ты быть вполне моей, принадлежать мне телом и душой? Если ты согласна, то я клянусь тебе в верности до гроба. С тобой я буду жить и с тобой же умру. Возле тебя я воздену мои руки к твоему Богу. Я поверю, насколько могу, что Христос умер для искупления человечества. Я воздвигну символ этой религии повсюду, где рука цезаря властна ниспровергнуть алтари Юпитера и всех других богов. После меня мир будет принадлежать Галилеянину, ты же, избранница императора, будешь царить над твоей многочисленной общиной, прекрасная и вознесенная, как ни одна женщина на земле, ни до, ни после тебя!

Актэ печально покачала головой.

– Нет, повелитель, – трепеща отвечала она, – из зла еще никогда не выходило добра. Церковь всемогущего Бога зиждется не на преступлениях, но на незыблемой верности ее приверженцев. Она победит и без меня и без поддержки императора, одной лишь силой своей истины.

– Это ли язык любви? Дорогая, божественная Актэ...

– Подумай об Октавии!

– Я думаю о ней без малейшего укора совести. Октавия не может потерять то, чем она никогда не обладала. Я был твой задолго перед тем, как меня склонили к союзу с ней коварство окружающих, власть по-детски почитаемой матери и безграничная пустота моего собственного сердца. Актэ, если ты опять покинешь меня, я умру. Если ты повелишь, мой кумир, я сегодня же переговорю с Октавией и потребую развода...

– Никогда!

– Ты не хочешь быть моей перед лицом всего мира? Ты опасешься бури, которую неминуемо возбудит развод императора с его супругой? Хорошо. Твоя воля для меня закон. Пусть долг приковывает цезаря к его жалкой жизни во дворце! Но как человеку, дай мне счастье твоей любви! Да, ты права, отвергая все мои обеты тебе, как христианке! Я должен был бы воззвать только к твоей любви. Я не хочу купить божественную Актэ ценой императорских милостей, но хочу получить ее сердце, как добровольный дар, из ее собственных нежных рук!

Голос его звучал такой безмерной страстью, что объятая блаженным трепетом Актэ затрепетала всем телом.

Неподалеку, под развесистыми ветвями старых платанов, стояла скамья, покрытая тарентинскими коврами.

Клавдий Нерон посадил рядом с собой слабо сопротивлявшуюся девушку и осыпал ее страстными поцелуями. Крепко прижавшись к нему, она плакала несказанно счастливыми слезами...

Когда настала минута разлуки, Актэ со сладостным смущением взглянула на обожаемого ею императора. Но во взоре ее не было раскаяния: в нем выражалась одна лишь безграничная любовь, бесконечная преданность.

– Так ты остаешься? Да? Обещаешь? – прошептал Нерон, снова нежно и горячо обнимая ее. – Актэ! Актэ! Как мне благодарить тебя за твою любовь и доброту? Прощай, моя возлюбленная, моя единственная настоящая, любимая супруга! Я должен спешить к гостям! Боюсь, мое продолжительное отсутствие уже замечено всеми. Я вижу, ты еще носишь мой перстень. Покажи его привратнику Тигеллина. Тебе будет оказано такое же уважение, как императрице, и укажут тебе ложе, где ты можешь спокойно заснуть в сознании нашего, достигнутого наконец счастья. Артемидор же уведомит твою госпожу, чтобы она отыскала себе другую спутницу. Актэ рождена не для того, чтобы прислуживать стареющим провинциалкам. Пожалуй-ста, напиши что следует вот на этой дощечке: я позабочусь, чтобы записка была доставлена по адресу завтра рано утром. Где остановилась твоя сицилианка?

– В доме ее подруги, египтянки Эпихарис.

– Приглашенной сегодня сюда?

– Той самой. Артемидор сказал мне об этом. Если бы не назначенный на завтра отъезд моей госпожи, и она была бы здесь между гостями.

– Так Эпихарис может передать ей сегодня же твой отказ, – сказал император.

Актэ написала.

– Хорошо, – сказал Нерон, пряча восковую дощечку под тунику. – Теперь иди, моя дорогая, моя обожаемая! О, каким неописуемым блаженством даришь ты меня! В груди моей радость бьет ключом, я хотел бы обнять весь мир. Ступай и прими еще один огненный поцелуй, который скажет тебе, как всецело ты владеешь моим сердцем!

Он приник к ее губам в последний раз. Поднявшись, она направилась к маленькой калитке парка, между тем как Нерон, закинув за плечо тогу, поспешил к средоточию праздника, откуда все громче и яснее долетал до него шум и веселый говор.

Глава X

Когда Клавдий Нерон подходил к арене, там только что окончилась борьба гладиаторов, за которой возбужденные вином зрители следили с горячим воодушевлением.

Один из борцов, раненый, истекая кровью, упал на колени, а его сломанный меч валялся в стороне на песке арены.

Победитель, вопросительно осмотревшись кругом, остановил свой взор на императорской ложе, ожидая услышать из уст императрицы-матери решение судьбы обезоруженного противника. Несмотря на нашептывания рыжей испанки Ацерронии, Агриппина, будучи здесь только гостьей наравне с другими, отклонила от себя это право и величаво равнодушным жестом указала борцу на ряды остальных зрителей. Изнеженные юноши и бессердечные кокетки пожелали насладиться кровавым зрелищем до конца, – и все опустили большой палец, что означало: «Избавь Флавия Сцевина от расхода на лечение! Не медли! Наноси смертельный удар!»

После мгновенного колебания, гладиатор глубоко вонзил клинок в грудь своей жертвы. Темная струя крови со свистом и паром брызнула вверх.

Тогда-то среди оглушительных рукоплесканий появился цезарь. Прекрасно-величавый, как Аполлон, вошел он на ступени трибуны и сел между Октавией и Агриппиной.

– Ты не должна была бы допускать этого, – обратился к матери Нерон, – или по крайней мере ты, благородная Октавия, прозванная Кроткой. Конечно, будучи римлянкой с ног до головы, ты привычна к ужасам смерти. Я это понимаю и уступаю. Но только сегодня... сегодня... праздник был так прекрасен, так полон гармонии... не следовало осквернять убийством этот счастливый день.

– Убийством? – изумленно повторила Агриппина.

– Да, убийством, – подтвердил цезарь, – хотя и законным, но тем не менее отвратительным убийством. Разве ты не знаешь, что говорит об этом Сенека? Да и сам благородный Флавий Сцевин, потворствуя жестокому требованию современного вкуса, повинуетя единственно лишь обязанности амфитриона, а не собственному чувству. В душе он совершенно согласен с моим бессмертным учителем.

– Битвы гладиаторов – наследие предков, – возразила Октавия. – Сам Цицерон, философ не хуже Сенеки, считал их лучшей школой мужской отваги. Как мне могло прийти в голову противиться воле и обычаям римского народа?

– Так думаю и я! – многозначительно присовокупила императрица-мать. Она была рассержена. Смелый тост Флавия Сцевина, которого ее сын теперь открыто хвалил как образец этического направления, с удвоенной дерзостью зазвучал в ее ушах.

– Мать, – обратился к ней Нерон, между тем как двое рабов выносили умиравшего фракийца, – скажи, что с тобой? Ты раздосадована моими словами к Октавии? Но я говорил по

глубокому убеждению. У тебя такой суровый, недовольный вид... Я же так радостен, так счастлив, так полон праздничного веселья и жажды жизни, что хотел бы одержать победу и над самой смертью! Мать, я знаю, ты оскорблена тостом Флавия. Хотя искусно скрытая, но все-таки острая отравка его слов уязвила тебя. Видишь ли, мать, многие сенаторы и большинство римлян желают, чтобы я единолично держал скипетр римского императора, но Нерон отлично знает, кому он обязан престолом. Ты останешься правительницей империи, если правление твое будет кротко и не оскорбительно для законов государства. Ты будешь уступать мне в мелочах, только в шутку; во всем же важном тебе предоставляется неограниченная власть. Я не честолюбив, мать. Меня не соблазняют дерзостные речи твоих врагов.

Прежде чем Агриппина успела ответить, из аллеи, усаженной громадными пиниями и находившейся как раз позади арены, раздался отчаянный крик о помощи. Все вскочили со своих мест.

С преторианцами впереди, гости бросились в аллею, по которой медленно, шатаясь, шел Флавий Сцевин, поддерживаемый прекрасной Поппеей Сабиной.

– Убийство! – закричала она своим звучным голосом. – Какой век! Амфитрион не безопасен даже в собственном доме!

В одно мгновение Нерон очутился возле сенатора и бережно обхватил его рукой, коснувшись при этом руки Поппеи, которая вздрогнула, несмотря на все смятение этой минуты, как бы желая дать понять императору, какое сильное впечатление он производит на нее.

– Скажи, что случилось? – заботливо спросил Нерон. – Но прежде всего: как ты себя чувствуешь?

– На этот раз я отделался довольно счастливо, – усмехнулся Флавий Сцевин. – Я гулял с супругой Ото и, очарованный ее остроумной беседой, забыл о моих обязанностях хозяина дома. Вдруг в кустарниках что-то зашумело. Я полагал, что это ночная птица, но едва успел подумать, как меня ударило по правому плечу. «Ото!» – крикнул я и обернулся. Но враг уже исчез, и я почувствовал лишь теплую кровь, струившуюся по моей спине!

– Преторианцы! Оцепите парк и дом! – повелительно воскликнула Агриппина.

– Стена высока, все входы заперты. Жалкий преступник не может ускользнуть от нас!

– Факелы сюда! – приказал Тигеллин, между тем как прекрасная Поппея и Нерон вели в дом окровавленного Сцевина.

– Тщетный труд! – сказал он, бросив странный взгляд на императрицу-мать. – Такие убийцы чрезвычайно хитры и обыкновенно случается, что их преследуют по ложному следу.

Войдя в спальню Флавия, Нерон обратился к стоявшему там испуганному Артемидору.

– Помоги мне уложить твоего господина! – сказал он.

– Пресветлейший император, – возразил отпущенник, – смотри, тут довольно людей и между ними есть врачи. Благородный Сцевин никогда не простил бы мне, если бы я допустил...

– Молчи! – резко прервал его Сцевин. – Слушайся императора Нерона! Он единственный властитель, которому вы обязаны повиноваться, даже если бы он приказал вам... арестовать свою собственную мать!

Клавдий Нерон обменялся удивленным взглядом с прекрасной Поппеей, которая, впрочем, тотчас же приняла обычно томный вид.

Император легко приподнял стан широкоплечего сенатора, которого Артемидор в то же время обхватил за ноги, и они положили его на железную кровать: так повелитель мира и раб вместе исполнили обязанность больничных служителей.

Отойдя, Нерон приметил, что его белоснежная тога местами сплошь пропиталась кровью.

Им овладело странное чувство: кровь в день встречи с горячо любимой Актэ предвещала беду!

Он постарался отогнать эту мысль. «Пустяки! – говорил он себе. – Нерон так же мало верит в басни предсказателей, как в любовные похождения Юпитера. Я сам буду Юпитером, видящим счастье этой мимолетной жизни в объятиях моей обворожительной возлюбленной!»

Рана Флавия Сцевина оказалась неопасной: направленный наудачу кинжал прошел вскользь, не повредив внутренности. Домашний врач Полихимний наложил искусную перевязку и напоил раненого холодной водой с фруктовым соком, что видимо освежило его.

В трогательных выражениях благодарил Флавий заботливого императора.

– Истинно царственная натура, – с воодушевлением прибавил он, – входит в каждое несчастье, стараясь смягчить его, стремится покарать каждое преступление и вознаградить каждый великодушный поступок. Нерон, братски помогающий своим друзьям, может рассчитывать на них в час серьезной опасности! Дай мне руку и ты, достойнейшая из римлянок! – обратился он к Пoppее. – Будь я на двадцать лет моложе, я позавидовал бы твоему Ото. Ты прекрасна, как Афродита, и дружелюбна, как Кос. Обещай мне навестить меня на днях! Я должен до конца дослушать интересную историю, которую ты начала рассказывать мне!

– Если дозволено слуге, – вмешался врач Полихимний, – заботиться о благе своего господина, то я посоветовал бы божественному цезарю и благородной Пoppее оставить теперь нашего больного. В противном случае, неизбежная в его положении лихорадка может принять угрожающие размеры.

– Ты говоришь мудро, – сказал император. – Пойдем, Пoppея, твой нежный Ото и без того должен быть вне себя от ревности!

– Пусть его, повелитель! – лукаво отвечала Пoppея. – Ревность – это масло, питающее пламя любви. К тому же... – тихо прибавила она, – ревность к Флавию Сцевину?.. Ты преувеличиваешь его качества.

И она бросила на него пожирающий взор. Между тем они достигли площадки, где господствовало невероятное смятение. Императорские гвардейцы, находившиеся в расставленной вокруг дома цепи, небольшими группами рассыпались по парку, обыскивая бесконечные аллеи и густые кустарники. Каждую группу сопровождал факелоносец.

Храбрейшие из сенаторов и благородных, взяв оружие у Милиха, главного раба Флавия, присоединились к солдатам. Большинство же гостей и среди них вся молодежь, так усердно потягивали крепкое вино Сцевина, что теперь шатались, подобно свите Диониса, и, после бесплодных усилий удержаться на ногах, со вздохами снова опускались на мягкие скамьи. Даже сам Тигеллин, несмотря на свою опытность и привычку к попойкам, с величайшим трудом передвигал ногами. Те женщины и девушки, которые не заснули еще на своих местах, бежали в каведиум. Одна только Агриппина и серьезная Октавия, гордо выпрямившись, сидели в своей ложе и, облитые ясным, ровным светом канделябр, уподобились двум величественным статуям.

Нерон обнажил меч; он хотел лично отмстить за покушение на Флавию Сцевина предательски скрывшемуся убийце.

Пoppея Сабина, вынув из чугунной подставки первый попавшийся факел, последовала за ним, так как ее ревнивого Ото нигде не было видно, или же она сумела искусно избежать его...

Осветив массу густых, спутавшихся кустов, Пoppея сильно вздрогнула: в небольшой канавке близ дорожки сверкнул стальной клинок: она наклонилась и молча подняла кинжал. Увлеченный преследованием Нерон не заметил ее движения.

На синевато-яркой, трехгранной стали еще виднелись следы свежей крови, ясно свидетельствовавшей о значении неожиданной находки.

Нерон все спешил вперед.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Пoppея Сабина обтерла кинжал о росистую траву и осторожно спрятала его себе под пояс.

Теперь она поняла все.

По странной случайности, она видела на днях в покоях Агриппины точно такой же кинжал – простой стилет, не способный обличить свою царственную обладательницу.

Происшествие объяснялось очень просто, в то же время напоминая собой искусный замысел сочинителя трагедий.

Поппея мысленно увидела роскошную спальню Агриппины, когда она пришла навестить императрицу-мать по случаю ее легкого недомогания, и принесла чудную гирлянду цветов в виде «привета высокой страдальце»; в действительности же, ее любезность имела одну цель – ради Нерона получить расположение императрицы-матери.

Агриппина была очень приветлива: желтые розы на время завоевали ее сердце.

Она пригласила Поппею к себе и поблагодарила ее.

Кроме больной в комнате находилась только пантера, рыжая испанка Ацеррония.

Вдруг Агриппина упала в обморок. Быть может, запах роз слишком сильно подействовал на ее возбужденные нервы. Ацеррония заботливо подхватила свою госпожу, начала тереть ей лоб и виски и крикнула испуганной Поппее:

– Эссенцию, заклинаю тебя, дай эссенцию! Направо в стенном ящике позади кедровой шкаτούлки! Флакон с надписью, ты увидишь.

В волнении Поппея не могла сразу найти кнопку ящика и пока она искала пружину, случайно отворилась одна из других, серебряных, утопленных в стену дощечек. Поппея мгновенно сообразила, что сделала опасное открытие: перед ней открылись всем известные хрустальные флаконы отравительницы Локусты и десять или двенадцать кинжалов с трехгранными клинками и круглыми медными рукоятками.

Все это только мелькнуло перед ее глазами, но неизгладимо врезалось в ее память.

Бесшумно захлопнув серебряную дощечку, она тут же нашла ящик с эссенцией и поспешила подать ее ничего не заметившей Ацерронии.

Теперь также никто не должен узнать про странную связь ее находки с прошлым открытием.

Агриппина не должна подозревать, что Поппея Сабина держит у себя на груди доказательство ее виновности в покушении на жизнь Флавия Сцевина и что одним своим словом она может сорвать с императрицы-матери личину перед ее доверчивым сыном. Таким образом, молодая женщина оказывалась госпожой положения. Пока она решила хранить строгое молчание и выступить на сцену не раньше, чем когда это будет необходимо и уместно. Тогда Нерон узнает, что этот кинжал один из хранящихся рядом с флаконами Локусты!

Все это пронеслось в ее голове с быстротой молнии, и она весело поспешила за цезарем, усердно обыскивавшим кусты.

– Вот и солдаты уже возвращаются, – вздохнув, сказала она. – Кажется, их поиски были так же тщетны, как и наши!

– Ничего и никого, дорогой цезарь! – еще издали протянул Тигеллин. – Встретившиеся мне трибуны преторианцев также идут с пустыми руками. Клянусь Геркулесом, гвардейцы пронизали своими копьями все лавровые и миртовые кусты и если бы там прятался какой-нибудь негодяй, он, наверное, был бы проткнут, как вертелом.

– Значит, преступник перелез через стену, – сказал цезарь.

– Едва ли, если только у него не было лестницы, а если она и была, то ее, наверное, нашли бы где-нибудь в парке или за стеной. Кроме того, там сторожат преторианцы и прибежавшие сюда на шум солдаты городской когорты.

– Хорошо. Значит, убийца среди нас.

Тигеллин пожал плечами.

– Кто же из гостей мог быть таким отъявленным, низким негодяем? И еще: кто питал вражду к честному Сцевину? Он общий любимец, общий приятель... Его рабы обожают его. Быть может, Артемидор?..

– Артемидор был в доме, когда это случилось.

– Однако он ведь уже бегал от него, тогда, несколько месяцев тому назад.

– То было из страха, а не из ненависти.

– Ну так кто же это сделал? – покачнувшись, спросил агригентец. – Ведь не думаешь же ты, что кто-нибудь из пламенных обожателей нашей Пoppей отмстил шестидесятилетнему старику за его прогулку вдвоем с ней по парку?

– Я вовсе ничего не думаю пока, – отвечал Нерон. – Но ведь ты согласен, что кинжал прилетел не сам собой, подобно голубке Мелинна. Поэтому я сделаю то, что мне предписывает долг. Отыщи Бурра! Прикажи ему созвать своих преторианцев. Городские солдаты могут сторожить снаружи, на случай, если преступник станет скрываться на вершине густого дерева. При настоящих обстоятельствах я не доверяю никому. Все будут обысканы, от сенатора до последнего раба. Пусть знают, как в империи Нерона карают такие выходы бандитов!

Пять минут спустя на звуки труб со всех сторон сошлись преторианцы и гости.

– Войди в нашу ложу, – сказал цезарь Пoppее Сабине. – Ты, сопровождавшая Флавия Сцевина в момент позорного покушения, также олицетворяешь собой общественную совесть. Твоя печаль и красота внушат преступнику раскаяние и стыд, и облегчат нам раскрытие виновного. К тому же, как находившаяся с ним, ты одна стоишь выше всякого подозрения, ты и мы, императорская семья!

Агриппина бросила холодный взгляд на прекрасную Пoppею, которая остановилась слева от императора и со спокойным дружелюбием встретила ее взор. Да и к чему стоило бы раздражать Агриппину теперь? Нет, Пoppей была слишком лукава, чтобы в самом начале выдать свои дальновидные планы.

«Но кто же был орудием царственной преступницы? – думала Пoppей. – Бурр слышет ее фаворитом. Но я не могу допустить, чтобы он решился на такой поступок: это было бы слишком низко. Или, быть может, центурион Убий, так баснословно быстро делающий карьеру? Да что мне за дело? Довольно того, что мне известен источник покушения».

В душе она искренно смеялась над быстротой и легкостью, с которыми благодаря обмороку Агриппины она проникла в ее игру и таким образом овладела тайной, долженствовавшей рано или поздно доставить ей многие выгоды.

Ничем не обнаруживая свое тайное торжество, она с гордым достоинством внимала, когда негодующий Нерон с горящим взором обратился к толпе гостей.

– Совершилось беспримерно-позорное святотатство, – говорил он. – Помогите мне открыть преступника! Невинные да не сочтут излишним доказать свою невинность! Никто из присутствующих не сойдет с места, раньше чем объяснит, где он находился до этой минуты и не докажет, что на нем нет ни скрытого оружия, ни следов предательски пролитой крови. В особенности же вы, славные преторианцы, опора права и законов, вы больше всего должны стараться об разоблачении виновного! Представьте себе, какой беспримерный позор, если он окажется среди вас самих, среди достойного отряда избранных! Смерть от руки палача была бы слишком большой честью для презренного негодяя!

Кругом раздался одобрителный ропот.

– Так начинай с меня, – произнесла императрица-мать, протягивая руки с видом покорности своей позорной участи.

При этом движении серебряный гвоздь, конец которого торчал из под обивки перил ложи, глубоко оцарапал ей руку, и кровь, брызнув на вооружение стоявшего справа от нее центуриона Убия, капнула и на ее собственную белолилейную одежду. Агриппина вздрогнула и испустила легкий крик.

– Мать, что ты делаешь? – в ужасе воскликнул Нерон. – Опять кровь в этот чудный день, который так лучезарно начался и так божественно завершался?

– Сын мой, это случайность, но в случайностях часто выражается воля бессмертных богов. Быть может, этим они дают понять тебе, своему любимцу, что ты оскорбляешь гостей Флавия Сцевина, превращая его дом в судилище, как будто праздничная площадка в парке сенатора то же самое, что портик на народной площади, где практикующие законники предлагают желающим свои юридические хитросплетения...

Пораженный Нерон схватился за лоб. Неужели он все еще десятилетний мальчик, которого мать бесцеремонно трепала за волосы, когда он являлся домой с разорванной туникой?

Он уже собирался возразить в сдержанных, но энергичных словах, что безопасность его граждан важнее для него всех придворных и светских приличий, когда его опередил начальник преторианцев Бурр.

– Всемогущая Агриппина, – твердо произнес он. – Мой долг предписывает мне немедленно исполнить повеления императора. Как знатная женщина, ты можешь оскорбляться этим, но как мать императора, ты должна будешь признать, что старый, грубый солдат исполнил свою обязанность.

Агриппина пожала плечами. Если начальник преторианцев брал сторону Нерона, что могла она сделать? Но она тут же втайне поклялась опутать этого медведя розовыми цепями, чтобы на будущее время отнять у него всякую возможность к проявлениям неуместного усердия.

Бурр подозвал восьмерых из своих людей, на верность которых он мог вполне положиться, и приказал им основательно обыскать сначала всех преторианцев, затем присутствовавших мужчин, не способных сказать, где они находились в момент покушения, и всех рабов.

Женщинам и девушкам, не желавшим подвергнуться публичному обыску, предложено было под конвоем преторианцев удалиться в атриум. Но ни одна из них не воспользовалась этим дозволением. Против ожидания, обыск кончился весьма скоро.

У каждого гостя оказалось по два и три свидетеля, клятвенно подтверждавших его пребывание в том или ином месте. Также ни у кого не нашлось кинжала, а между тем вид раны не оставлял ни малейшего сомнения в том, что она нанесена именно этим оружием.

Обыск оказался безрезультатным.

– Я говорила, что так и будет! – вскричала Агриппина. – Просим простить нас, благородные гости Флавия Сцевина, если похвальное усердие нашего возлюбленного сына зашло чересчур далеко!

Нерон промолчал.

В душе его уже возникли другие образы. Он молча встал и незаметно передал Артемидору записку Актэ к сицилианке.

В том же порядке, в каком императорская процессия достигла дома Флавия Сцевина, двинулась она теперь в обратный путь. Метелла, супруга злополучного сенатора, проводила до ворот своих высоких гостей.

– Желаю ему скорого выздоровления! – прошептала Агриппина, дружески целуя ее в лоб.

– Того же желаю и я, – воскликнул Нерон, трижды прикоснувшись губами к руке Метеллы.

– И да постигнет наказание коварного преступника, нарушителя твоего спокойствия, – сказала Октавия, нежно обнимая плачущую матрону. – Утешься, любезная Метелла! Полихимний превосходный врач, и рана не опасна!

Процессия двинулась. Ни Октавия, ни Нерон не произнесли ни слова. Безмолвие нарушалось лишь звуками мерных шагов носильщиков, факелоносцев и солдат.

Нерон смотрел навстречу солнцу, обещавшему ему наконец счастливую жизнь.

Октавией же интуитивно овладело мрачное ощущение, что для нее никогда больше не наступит светлый день.

Спокойно-ясная безмолвность супруга казалась ей странно красноречивой. Глаза его сияли, губы улыбались, как у ребенка, которому снится только что подаренная ему кукла.

То, что принесло в его душу мир и спокойствие и разлило по его лицу цветущее юношеское выражение довольства, могло быть только счастье, – та вавилонская роза, которую тщетно ищут миллионы людей...

Бедная Октавия с невыразимой горечью сознавала, что ей нет места в его чувствах, что вавилонская роза в его руках значила для нее вечное горе и отречение от всякой радости.

«В твои руки предаю я мою жизнь, всеблагий Юпитер!» – неслышно прошептала она, ломая руки и вздыхая, словно разбивалось ее сердце, но так же тихо, как молодой спартанец, которому лисица под одеждой разрывала внутренности. Блаженно улыбающийся звездной апрельской ночи, Клавдий Нерон не должен был догадываться о ее безмерном несчастье.

Глава XI

Прошло шесть недель.

В густой зелени беседки одной из прелестнейших вилл по ту сторону Друзовой арки, на усталой ковровой мраморной скамье сидела Актэ и с нетерпеливым ожиданием посматривала на тень солнечных часов. Час ужина уже миновал.

Сегодня Нерон ужинал у начальника флота Аницета и в качестве гостя, а не амфитриона, мог удалиться, когда вздумается. Его влекло поскорее увидиться с той, которую он любил больше блеска своего престола и всей мудрости государственного советника. Молодой император вполне предоставил теперь управление империей Агриппине с ее приближенными; он допускал свою мать и даже Октавию вмешиваться в такие дела, которые до сих пор всегда решались только по личному усмотрению императора. Тост Флавия Сцевина, по-видимому, остался без всяких последствий.

Нерон утверждал все, что представлял на его рассмотрение достойный Сенека, часто действовавший под влиянием Тигеллина. По совету их обоих он удвоил жалованье преторианцам за декабрь, в который он родился, причем во всех четырнадцати когортах прошел слух, что эта политически-знаменательная идея родилась в голове агригентца.

Император присутствовал также повсюду, где этого требовал придворный церемониал или собрания сената.

Но все это он делал как человек, с радостной покорностью исполняющий свою ежедневную обязанность, думая лишь о счастье, ожидающем его в часы свободы.

Мысль об Актэ не покидала его с раннего утра до поздней ночи.

Весь мир составлял лишь рамку для одного драгоценного образа, в тайне хранимого им в нескольких сотнях шагов от шумной Аппианской дороги.

Никто не знал об этом, кроме Тигеллина, которому преисполненный счастья Нерон признался во всем. Он просто задыхался от избытка блаженства, а Тигеллин поклялся духом своей покойной матери не выдавать его тайну.

Актэ, постукивая одна о другую ножками в красных сандалиях, поджидала своего кумира. Он мог явиться каждую минуту. Уютная мраморная скамья среди розовых кустов была его любимым местом, и поэтому она ждала его именно здесь.

Тень на солнечных часах становилась все длиннее. Уверенная, что он придет, Актэ начала думать о своей судьбе, которую она находила завиднейшей из когда-либо выпадавших на долю смертной.

Шесть прошедших недель были одним очаровательно-сладким сном.

О минувшем она не вспоминала; иногда только мелькала у нее мысль о горьких днях разлуки, но сердце ее при этом еще сильнее переполнялось сознанием счастья.

Совесть ее также молчала.

Она знала, что верующей назарянке грешно любить человека, имеющего жену; она сознавала это умом, но не сердцем и не чувством, и уж, конечно, не в те мгновения, когда думала о том, кого так беспредельно любила.

Одного взгляда его чарующих глаз было достаточно, чтобы заглушить в ней последнюю искру самообвинения.

Разве она не сделала все, чтобы избежать императора?

Разве она не решилась удалиться в Сицилию, где никогда больше не достиг бы ее луч непреодолимого очарования императора?

Она хотела в последний раз взглянуть на его прекрасное лицо, с первой минуты запечатлевшееся в ее душе, и только случай или предопределение судьбы превратили этот час разлуки в неразрывный, вечный союз.

Да, вечный!

Такая любовь не проходит, одна лишь смерть может насильно разъединить то, что не властны разорвать никакие земные силы.

И разве она отняла его у холодной жены? Разве он не с самого начала всей душой принадлежал ей, низкороденной? Разве Октавия когда-нибудь понимала его так, как она?

В последние же две недели молодая императрица начала выказывать необычайную резкость и относиться враждебно к своему супругу. Под предлогом бессонницы и частых припадков головной боли она даже переселилась в покои, совершенно удаленные от покоев императора.

Да, бледная, бессердечная Октавия разделяла с Нероном трон и наружные почести императорского сана; она показывалась рядом со своим супругом всюду, где того требовали обычай или необходимость, но кроме этого, между ней и божественным цезарем не было ничего общего, розно ничего...

Актэ не знала того, что пережила за это время Октавия, иначе она не дерзнула бы называть молодую императрицу бессердечной и холодной.

Как раз две недели тому назад Тигеллин тайно испросил у Октавии аудиенцию, под предлогом весьма важных государственных дел и, попросив императрицу удалиться из комнаты отпущенницу Рабонию и двух рабынь, обратился к ней с сдержанной почтительностью.

– Повелительница, – сказал он, – долг мой вынуждает меня сообщить тебе нечто ужасное, и в то же время, к сожалению, я не могу сделать полного признания, будучи связан клятвенным обещанием не выдавать имени виновной.

– В чем дело? – спросила Октавия.

– Дело весьма обыкновенное, но оно большое горе для повелительницы Рима и невыразимое несчастье для нее.

– Ты взволнован. Или я несправедливо судила о тебе?

– Несправедливо, глубоко несправедливо, повелительница, как это делают и многие другие, знающие не настоящего, искреннего, честного Тигеллина, а только ту светскую маску, которая носит мое имя. Поклянись, повелительница, что ты сохранишь все в тайне!

– Клянусь.

– Так знай, что твой супруг любит другую, молодое, прекрасное, обворожительное создание, но не стоящее одной пряди твоих чудных волос. Любовь его на веки потеряна для тебя: она очаровала его, как Цирцея спутников страдальца Одиссея. Ты поражена? Ты шатаешься? Ободришь и доверься мне. Смотри, вот сердце, с радостью готовое принять смерть ради тебя, моего божества.

Почти без чувств она упала в его объятия. Опыренный Тигеллин с безумной страстью прижал ее к груди.

Она оттолкнула его.

– Презренный! – произнесла она дрожащими устами. – Если бы он был в тысячу раз порочнее и вероломнее, чем ты представляешь его, то все-таки я останусь верна ему до гроба. На кого протер ты свою дерзость? Одной твоей кровью можно смыть такой позор, но я не хочу крови. Сам справедливый Юпитер покарает тебя.

– Повелительница... – пробормотал Тигеллин.

– Оставь меня!

– Так мне не на что надеяться, даже если я докажу, как бесстыдно обманывает тебя Нерон?

– Если ты не уйдешь добровольно, я позову на помощь, – произнесла Октавия, выпрямляясь во всем величии своей молодой красоты. – Что за женщины жили здесь прежде, если такой человек, как ты, осмеливается...

– Я иду, Октавия, – прошипел агригентец, побледнев как полотно. – Я иду! До свиданья! Об этом печальном случае Актэ не могла знать.

Для нее Октавия была несчастная, не избранная Богом для понимания и счастья императора, жаждавшего любви.

Что выпало на долю ей, низкороденной, она считала незаслуженной милостью Неба. При мысли о ее безграничном счастье, у нее кружилась голова и на глазах выступали слезы.

– Милосердный Боже! – шептала она. – Прости мне мое счастье! А если Ты не можешь, то осуди меня в будущей жизни искупать каждый день теперешнего блаженства целым веком страшнейших мук, пока наконец я снова, снова соединюсь с ним! И я буду неустанно нашептывать ему, что Ты сходил на землю в образе смиренного смертного, чтобы избавить нас от бремени наших грехов! Я спасу его душу... увы, из себялюбия: какую цену имеет для меня рай со всем его блаженством без того, кого я люблю больше всего в мире!

На ее лице мелькнула светлая улыбка. Ей почудилось, что христианский Бог услышал ее: такое небесное спокойствие и мир наполнили ее сердце.

Она вскочила. В перистиле раздалися шаги Фаона, верного, преданного раба, которому Клавдий Нерон поручил заведовать маленькой виллой.

Актэ знала, что означали эти шаги. С верхней галереи Фаон увидел знакомые носилки, где за шелковыми занавесами скрывался прекрасный царственный юноша. Четверо носильщиков-лузитанцев в серых, простых одеждах отличались своей молчаливостью, и никто не обращал внимания, когда они проходили через остиум в наполовину крытый двор. Актэ прошла через перистиль до коридора, и с сильно бьющимся сердцем смотрела, как ее возлюбленный в цветастой тунике, перекинув на руку белую тогу, вышел из носилок и направился прямо к роскошному покою, где пятисвечный канделябр уже озарял мягким светом великолепные обои и драгоценную мебель.

Краска залила лицо Актэ.

Да, восхитительно беседовать там, под дубами, среди душистых роз и повторять уверения в неизмеримой, бесконечной, взаимной любви.

Но здесь, в этом тихом, уединенном покое было еще лучше, здесь не нужно было опасаться любопытных глаз или ушей какой-нибудь нескромной служанки; в этом уголке они были вполне отделены от остального мира.

Маленькая кованая дверь затворилась за ними. На столе из блестящего лимонного дерева, под задернутым легкой занавесью окном стояли серебряный кувшин с греческим вином и две чаши со змееобразными ножками. Перед обитой розовой материей софой стоял столик с душистыми плодами и плоским блюдом, наполненным сухим лимонным печеньем. Нерон усадил Актэ рядом с собой и страстно обнял ее.

– Наконец, наконец я опять с тобой! – прошептал он, целуя ее стыдливо опущенное лицо и роскошные волосы, волной сбегавшие по ее плечам.

Обняв его за шею, она нежно гладила его густые кудри и вдруг в порыве бурной страсти приникла к его груди.

Эти порывы чувства больше всего нравились Нерону; от скромной, почти боязливой застенчивости и сдержанности, Актэ внезапно переходила к проявлению самой горячей, преданной, безмерной страсти.

– Ты любишь меня? – повторял император свой вечный вопрос. – Ты вспоминала обо мне?

– Я думала о тебе каждую секунду, – замирая от счастья, отвечала Актэ. – А ты? Ты меня вспоминал там, среди всей этой знати, где столько прекрасных женщин и девушек, где ты окружен всеми почестями и где повсюду для тебя расставлены всевозможные сети?

– Божественная Актэ, ты преувеличиваешь. Поверь мне, если бы красота всех женщин от Танаиса до берегов океана воплотилась в одном обольстительном существе, я и то не взглянул бы на него, и сказал бы божественной Афродите: все твои совершенства – ничтожество в сравнении с Актэ, моей белокурой красавицей, большие глаза которой так глубоко заглядывают мне в душу и говорят: здесь твоя родина, цезарь!

– Да, так я думаю! Я люблю тебя всей душой, чудный, дорогой человек! Я твоя, и останусь твоей, хотя бы мне пришлось заплатить за это вечной гибелью!

И она закрыла глаза, как бы ослепленная неземным блеском ее боготворимого Клавдия Нерона.

Как она любила его! Такой любви ему не найти во всей империи, думал Нерон, восторженно глядя на нее.

Вдруг лицо его стало печально. Разве не несчастье, что ему приходится прятать это сокровище, как будто любовь Актэ что-нибудь дурное или позорное? Если в людях еще жила совесть, одобряющая добрые дела и порицающая дурные, то он мог быть совершенно спокоен: его совесть была вполне чиста; боги не могли бы пожелать ничего лучшего и более справедливого, чем союз этих двух любящих сердец.

Он начал думать об Октавии, испытывая себя, не отзовется ли в нем внутренний голос в защиту его несчастной жены.

Но сердце его молчало.

Актэ была его идеалом и его жизнью, и, любя ее, он видел перед собой только одну обязанность: быть счастливым с ней и делать ее счастливой.

– Актэ, – сказал он, играя ее золотистыми волосами, – Актэ, моя звезда, моя возлюбленная, счастлива ли ты?

– Бесконечно счастлива!

– Нет ли у тебя какого-нибудь тайного, невысказанного желания?

– Нет...

– Актэ, я вижу, ты краснеешь. Скажи мне правду!

– Ну, я подумала, как было бы чудесно, если бы я могла иногда сопровождать тебя, например, на Марсово поле... Помнишь блаженный час в палатке мага? Но ведь это невозможно...

Нерон подпер рукой свою прекрасную голову.

– Невозможно? – повторил он. – Но кто же может помешать мне в этом, дорогая Актэ?

– Твоя мать... Октавия... сенат... почему я знаю?

– Я докажу тебе, что ты сильно заблуждаешься. Я император, и мне повинуются преторианцы и весь народ. Завтра я не могу... завтра я обедаю у Тразеа Пэта. Но послезавтра, в четвертом часу, мы отправимся вместе на Марсово поле.

– О, как славно! – И она захлопала в ладоши.

Одиночество уединенной жизни на вилле временами порядочно тяготило ее, несмотря на ее усердные и успешные занятия с превосходным Фаоном, ее главным рабом, преподававшим ей государственную историю и естественные науки.

– Теперь я вижу, что ты на многое готов ради меня, – с восторгом продолжала она. – Но я не хочу злоупотреблять твоей добротой. Осторожность есть мать мудрости. Насколько от меня зависит, меня не узнает никто из несносных зевак, вечно бегущих к тебе со всех сторон. Я закроюсь вуалью.

– Делай как хочешь! А теперь забудемся еще на несколько минут в сладкой беседе! Увы, часы моего блаженства летят с быстротой восьмикрылого Гермеса!

– Нерон, мой господин и мой бог!

– Актэ! Актэ!..

Глава XII

В самом радужном настроении направлялся император два дня спустя к девушке, нетерпеливо ожидавшей его.

Солнце стояло еще высоко, но прохладный ветерок, с раннего утра дувший от Тирренского моря, освежал, шелестя зеленью высоких кипарисов и разносил по всему саду аромат пурпуровых роз.

Роскошные носилки с восемью носильщиками-лузитанцами в полушелковых фиолетовых одеждах, вместе с блестяще разодетыми рабами, были подарком императора его безгранично любимой Актэ.

Он сказал ей об этом, когда они вместе уселись на мягких подушках и задернули фиолетовые занавеси так плотно, что без особого усилия никто не мог заглянуть в носилки.

Она поблагодарила его горячим поцелуем, но так, что он понял, насколько ничтожен его драгоценный дар в сравнении со счастьем быть с ним и обладать его любовью.

Вдруг вся покраснев, она припала к его груди, погладила его по щеке и вполголоса сказала:

– Мы теперь точно настоящие муж и жена, правые перед Богом и законом! О, Нерон, это было бы божественно... Я, рядом с тобой, на римских улицах! У меня кружится голова при одной этой мысли. Позволь мне еще немножко отдернуть занавес! Мое покрывало так плотно, что меня нельзя узнать!

– Как желаешь, – отвечал император. – Твой голос для меня – голос судьбы.

– Так лучше виден цветущий Рим, и чудные дворцы, и граждане в ярких тогах... Вот почти перед нами вьется Авентинский холм с храмом Дианы, а дальше, левее, длинный Яникулус. Как красиво граничат со светом темно-синие тени! Скажи, мы пройдем по форуму? Мне хотелось бы посмотреть на твое царственное жилище и вообразить себе, что и я имею право переступить за порог Палатинума!

– Ты имеешь это право, Актэ!

Она закрыла ему рот рукой.

– Не говори! Довольно того, что я вытеснила несчастную Октавию из твоего сердца! Этого более, чем довольно! Но я лучше умру, чем соглашусь на... Нет, Палатинум – храм невинных, и я скорее готова принять жесточайшую смерть у ног Октавии, чем оказаться угрозой для нее в ее собственном доме.

– Не говори так безрассудно! А если бы она сама возымела намерение отказаться от этого святилища и удалиться, оставив меня одного среди этой кесарской пышности?

– Она не сделает этого! Но мы сворачиваем... Это Via Sacra... А там, осеняемый храмом Диоскуров, поднимается к небу величавый дворец императоров, дворец моего страстно любимого Нерона!

Вдруг она откинулась назад.

– О, какая досада!

– Что с тобой? – спросил император.

– Это был Паллас, доверенный императрицы-матери. Он прошел мимо самых носилок и узнал меня.

– Но ты закутана, как египетская волшебница.

– Не совсем так, а у Палласа зоркие глаза. Я тебе рассказала уже...

– Да, ты рассказала мне, что и он поднял взор на небесную Актэ. Как несчастлив должен быть он! Я сожалею о нем от всего сердца.

– Все равно, он узнал меня, и я боюсь...

– Чего же, моя робкая лань?

– Что он повредит нам...

– Разве я не император?

– Конечно... Но именно как император ты имеешь уже довольно врагов, и я считаю излишним создавать новых недоброжелателей среди частных лиц, – в особенности же из таких, как этот угрюмый, мрачный Паллас.

– Ты несправедлива к нему. К тому же если он и узнал тебя, то почему он знает, кто твой спутник? Будь уверена, что его подозрения о моей любви к отпущеннице Никодима были лишь мимолетным предположением. Он ищет своего соперника в другом месте. Клавдий Нерон, конечно, сумеет помешать ему коснуться даже волоска на твоей золотистой головке.

– Ты прав, – прошептала Актэ. – Великий Боже, как здесь чудесно! Все Марсовое поле превратилось в один цветущий сад! Там платаны и дубы, здесь огненные цветы среди лужаек.

– Видишь ты громадные К.Н.Ц. перед колоннами мраморной галереи?

– Это значит «Клавдий Нерон Цезарь», – с восторгом вскричала Актэ. – Вся роскошь и весь блеск мира кажутся мне существующими только для того, чтобы чествовать тебя, мой единственно любимый!

– А посреди этой роскоши ты все-таки единственная жемчужина, дающая мне истинное счастье.

– Правда ли это? – лукаво взглянув на него, тихо спросила она.

– Такая же правда, как то, что майское солнце сияет теперь над нашими головами, а вечная весна цветет в наших сердцах! Актэ, Актэ, я не могу выразить словами, как я неузнаваемо изменился с тех пор, как ты любишь меня! Теперь я понимаю природу и самого себя; вечное желание, наполняющее мир, для меня не загадка больше. И я убежден, что это желание – жажда и стремление к счастью – есть единственное плодоносное зерно нашей жизни. Жизнь – любовь; жизнь – желание. И разве чему иному учите вы, назаряне, переносящие это желание даже за порог смерти, где вы надеетесь найти вечную жизнь и вечное счастье?

Актэ слушала с невыразимой любовью, припав к его плечу закутанной в покрывало головкой.

– Вот палатка египтянина, – уже другим тоном заговорил Нерон. – Сколь тяжело воспоминание о том, как дерзко распорядился твоим счастьем лукавый Никодим! Возмутительно! Мудрый и справедливый человек упустил из виду лишь то, что чистое сердце девушки не продажный товар, а сокровище, отдаваемое ею самой по свободному влечению...

– Нет, не по свободному влечению, а под ярмом непреклонной любви. О, я любила тебя до безумия... Если бы тогда ты взял меня за руку, я слепо пошла бы за тобой на край света...

– Да, я упустил случай... – огорченно заметил Нерон, но тут же весело прибавил: – Безумец я! Обладая всем, я еще пускаюсь в сетования! Будем наслаждаться настоящим, Актэ! Печальные мысли безумны при взаимной любви. Да, вот палатка египтянина, но теперь я смеюсь над ней! Разве я не в тысячу раз счастливее, чем был прошлой осенью? Разве теперь я не знаю того, что ты любишь меня, о чем тогда не подозревал?

– Мне нравится, когда ты такой! Смотри, какой блеск и сияние среди аллей! Повсюду я вижу моего возлюбленного, в мраморе, бронзе, серебре, золоте – и повсюду он один и тот же, достойный обожания Геро. У тебя прелестнейший рот, какой я когда-либо видела. Чудные

губы, созданные для поцелуев, для песен и красноречия. Нерон, я с ума сойду от самомнения и гордости. Во всем обитаемом мире звучит твое божественно-сладкое имя... – Нерон! – шепчет лузитанец и почтительно преклоняет колени перед твоим изображением. – Нерон, – раздается в Азии и в Африке. – Нерон, – слышится в Галлии и по ту сторону границы, у германцев...

– Которые, однако, ни в каком случае не преклоняются перед статуями императора!

– Нет? Почему нет?

– Потому что они свободный народ и не посылают свои войска следом за римскими орлами.

– Но ты еще недавно показывал мне из верхней комнаты нашей виллы хаттского вельможу в римском вооружении?

– Это был Гизо, сын хаттского вождя Лоллария. Гизо служит у нас, чтобы научиться римскому языку и военному искусству, впоследствии применив свои познания у себя на родине.

– Ты позволил ему это?

– Почему нет? Если бы я запретил, то не было бы это похоже на то, что римская империя боится своих соседей германцев?

– Ты прав, я не подумала об этом.

– К тому же этот молодой хатт уже щедро вознаградил нас за то, чем мы ему были полезны, оказав нам большие услуги в борьбе с восставшими парфянами на востоке и еще двумя северными сарматскими племенами, не проявлявшими ни малейшего уважения к римскому величию.

– Как счастлива была бы я, если бы могла разделять с тобой все твои дела! – вздохнула Актэ.

– Разве ты не примечаешь, что я сам перестал серьезно относиться к ним? Ты и красота природы – вот мой мир, мое настоящее и будущее. Взгляни как внезапно засияла вершина старого храма Минервы! Солнце склоняется к западу, и сама богиня мудрости как бы выражает мне одобрение этим снопом лучей своего рассеивающего мрак светила!

– Да, настоящее и будущее! Сегодня же вечером мы выпьем за процветание... Но скажи, кто эта роскошная женщина в носилках рядом с красивой уроженкой Востока? Носилки бледно-красные, а носильщики в темно-желтых одеждах?.. Она прекрасна, но пламенный взгляд ее глаз пугает меня...

– Ты никогда не слыхала о Поппее Сабине, супруге Ото, друга моего детства?

– Как же, как же... Но смотри, как она глядит на тебя! Она тебя узнала! Ее гордое лицо на мгновение исказилось гневом.

– Что ты делаешь?

– Придерживаю занавеску, пока мы пройдем...

– Чтобы вдвойне привлечь ее внимание?

– Чтобы укрыть тебя от ее дурного глаза. Скажи, Нерон, часто ты встречаешься с ней?

– Очень редко, и к тому же я так же неуязвим, даже для самых дурных глаз, как если бы носил амулет на шее.

– Мы, назаряне, не верим в чудодейственную силу этих вещей, – возразила Актэ. – Но если бы ты отрезал прядь моих волос и всегда носил бы ее с собой, я думаю это принесло бы тебе счастье.

– Сегодня же я похищу золотую прядку! Она защитит меня, даже если все вокруг падет в развалинах.

– Скажи, кто эта черноволосая, что сидела рядом с ней? У нее также какой-то взгляд... словом, они подходят друг к другу!

– Ты думаешь? Это Хаздра, подруга Поппеи Сабини. Про нее говорят, будто она по уши влюблена в Фаракса...

– В Фаракса?

– Ну да, Фаракса, новоиспеченного центуриона гвардии.

– Это тот, который... но нет, тогда он был еще солдатом городской когорты.

– Тот самый, тот самый, который вел тогда Артемидора. Любимцы императрицы Агриппины быстро идут в гору...

– Ну, я предоставляю Хаздру Фараксу и Фаракса Хаздре. Знаешь ли, Нерон, мне хотелось бы, чтобы все кругом были веселы и счастливы. О, если бы я могла повелевать, не было бы больше ни горя, ни страданий, но одна только светлая радость и возгласы веселья...

– Так останови же смерть, вырывающую у матери цветущее дитя, у отца – прекрасного сына! Уничтожь безумные людские надежды, болезни и медленно наступающую старость!

Это были последние серьезные слова их разговора. Как роскошно простирали над дорогой свои развесистые ветви высокие вязы, пинии и клены! При каждом повороте носилок открывались все новые восхитительные виды, то на пятивершинную гору Соракте, то на возвышенности Альбы или на длинный, живописно разорванный ряд сабинских холмов. Башня Мецены величаво выделялась на голубом небосклоне, а кругом, насколько мог видеть глаз, цвели бесчисленные цветы, вились ползучие растения и зеленели свежие, густые кустарники.

Солнце еще не успело скрыться за Яникульской вершиной, как счастливая чета уже вернулась на виллу. Нерон ужинал сегодня у Актэ. Девушка безумно радовалась этой восхитительной прихоти и заказала своему повару самые изысканные блюда. Собственными руками налив в чашу возлюбленному искристое фалернское, она подняла свой кубок.

– Что за чудный день! – воскликнула она. – Выпьем же за настоящее и за будущее, помнишь, как мы условились в носилках!

Он залпом выпил вино и энергичным движением поставил чашу на стол.

– Приди ко мне! – шепнул он, обнимая стройный стан Актэ, обвившей руками его шею...

Вдруг в дверь послышался стук, легкий, сдержанный, но в то же время уверенный, точно стучавший считал себя в праве нарушить уединение любящей четы.

Цезарь вскочил, нахмурившись.

– Что это значит? – дрожа от гнева, спросил он.

– Не понимаю. Из слуг никто не посмел бы... Может быть, Фаон?

– Фаону известно, что я строжайше запретил ему... – сказал император.

– Наверное, случилось что-нибудь необычайное, если он решился ослушаться тебя, – прервала Актэ.

– Хочешь, чтобы я отворил дверь?

– Не отворяй, а спроси отсюда, что нужно.

Она побледнела при внезапном стуке, нарушившем блаженную тишину и прозвучавшем в ее ушах подобно призыву военной трубы.

– Как у меня забилося сердце, – боязливо произнесла она.

– Дорогая дурочка! – сказал он, ласково глядя ее по роскошным волосам. – Чего ты испугалась? Что может угрожать тебе, такой доброй и кроткой и защищенной рукой императора?

Подойдя к двери, он отодвинул задвижку и спросил сквозь щель:

– Это ты, Фаон?

– Да, повелитель! – послышался сдержанный голос. – Прости, если в моем безмерном смятении я пренебрег твоим запретом. Но случилось нечто необычайное.

– Подожди минуту!

Он обратился к Актэ.

– Это Фаон. Может он войти?

– Пожалуй! – уже с любопытством отвечала она, хотя все еще дрожала от внезапного испуга.

Раб вошел с почтительным поклоном.

– Говори! – приказал Нерон.

– Вот в чем дело. Я стоял у входа и любовался прекрасным вечером, как вдруг ко мне подошел какой-то человек, с лицом наполовину закрытым капюшоном его пенулы, и грубо спросил: «Здесь живет Актэ, отпущенница Никодима?»

– Что же ты ответил? – спросил цезарь.

– Ответил коротко и ясно, что он нахал.

– Нужно отдать тебе справедливость, Фаон, ты стоишь выше светского обращения! Как же понравилась нахалу твоя откровенность?

– Бросившись на меня, он схватил меня за грудь и, получив несколько ударов кулаком, злобно заревел. «Уж не хочешь ли ты разыгрывать оскорбленного, презренный сводник? Я пришел от имени высших властей, могущих уничтожить тебя!» – Скажи еще одно слово, и я вобью тебя всего в землю! – рассердившись, крикнул я в свою очередь. Увидав, что меня не легко испугать, он сделался вежливее и после нескольких намеков отдал мне вдвое перевязанную восковую дощечку. «Дело очень спешное, – серьезно прибавил он, – судьба цезаря зависит от немедленной передачи этой дощечки! Спеши же, не теряя ни мгновения!» – И я прибежал сюда, вопреки твоему повелению; прости меня, но я полагал, что, быть может, действительно тут что-нибудь важное и что этого желает судьба.

Фаон ушел.

Взяв со стола серебряный нож для фруктов, император разрезал шнурки дощечки и вполголоса с иронией прочел следующее:

«Бывшей рабыне Актэ, на погибель себе освобожденной римским дворянином Люцием Никодимом, посланием сим предписывается немедленно разорвать свою связь с высоким повелителем империи и без сопротивления возратить божественного императора его благородной супруге, с отчаянием по нем тоскующей.

Сама Октавия ничего не знает об этом послании, тому свидетель всемогущий Юпитер. Чувства справедливости и благоразумия диктуют эти строки верным сынам отечества.

Если отпущенница Актэ внимлет увещанию и согласится через три дня навсегда покинуть Рим, то приверженцы юной императрицы окажут милость и не станут ни преследовать отпущенницу Актэ, ни предадут ее за проступок на суд эдилам, а напротив, в день отъезда ей выдана будет сумма, которая ее обеспечит на всю жизнь.

Сопrotивление же Актэ навлечет на нее самые ужасные последствия. Лицо, направляющее это послание, имеет власть и намерение привести в исполнение все, чем ей угрожают.

Актэ должна сегодня же объявить о своем согласии, взойдя на верхнюю галерею своего жилища в начале второй ночной стражи и явственно произнеся: “Да, я уезжаю”, – когда увидит проходящего мимо человека в сопровождении факелоносца. Отличительный признак этого человека будет огненно-красный платок на пенуле и громко произнесенные слова: “Она раскаивается”!»

Нерон закончил читать. Актэ, как пораженная громом, сидела на бронзовой скамье и из-под полуопущенных ресниц ее катились жгучие слезы.

Спокойно, хотя с тайным смущением, положил Нерон дощечку на стол.

– Возлюбленная! – нежно сказал он, подходя к девушке. – Я узнаю почерк, несмотря на то, что его очень старались изменить!

Плачущая Актэ быстро подняла голову; Нерон обтер ей мокрые щеки полрой ее одежды.

– Это почерк моей матери, императрицы Агриппины, – торжественно сказал он. – Она водила стилем с несказанным тщанием, местами проводя линии, долженствовавшие ввести меня в заблуждение. Но я знаю ее письмо, даже если бы она вздумала писать левой рукой. Взгляни на ее А и почти греческое С! К тому же, кто в целом Риме дерзнул бы обращаться к возлюбленной императора с такими чудовищными угрозами?

Актэ вздохнула.

– Твоя мать для меня, конечно, еще страшнее твоей жены.

– Октавия серьезна и сдержанна, – возразил Нерон. – Ее любовь ко мне исчезла уже давно. В этом ты права. Прежде чем заподозрить бедную Октавию в этой интриге, я заподозрил бы некоторых государственных людей, недовольных сенаторов и благородных. Многие, ненавидящие чрезмерную власть Агриппины, охотно послали бы подобное письмо с намерением вооружить нас против моей матери. Некоторые знатные дамы также с неудовольствием примечают, что со времени известного празднества у Флавия Сцевина, я избегаю всяких торжеств. Но все это лишь пустые предположения. Я убежден, что угадал. Обороты речи здесь также обличают высокомерную повелительницу, никогда не выражавшую ни одного желания без того, чтобы оно не было мгновенно исполнено.

– Какое несчастье! – простонала Актэ.

– Несчастье? Как? Кто господин и император Рима, я или Агриппина?

– Она твоя мать!

– Ты хочешь сказать, что она повелевает мной, потому что доселе я терпел ее вмешательство в государственные дела? Ты ошибаешься, Актэ! Если я допускал это до сих пор, то единственно лишь потому, что мне так хотелось. Я не азиатский царь, которому доставляет удовольствие дать почувствовать свое неограниченное могущество даже в отдаленнейших провинциях. Меня не привлекают ни сложный механизм делопроизводства, ни процессы граждан, ни мелочное честолюбие военных. Все, совершаемое мной в этой области, я совершаю по обязанности. Поддерживаемый с одной стороны Сенекой, с другой таинственным Люцием Никодимом, я шел по раз избранному пути; но чем больше спутники мои освобождали меня от обременительной путевой поклажи, тем легче становилось у меня на душе. Я человек, Актэ, друг всего прекрасного и благородного, я художник и поэт. Но прежде всего, я нежно любящий безумец, которому один час в твоих сладких объятиях дороже тысячи триумфов. С тех пор как ты моя, я предоставил все другим. Агриппина с Сенекой правят государством, я же только изредка вижусь с Бурром, да с усердным Тигеллином, при случае поддерживающим расположение ко мне солдат значительными денежными подарками. Теперь же, когда они хотят отнять у меня мое единственное, оставленное мной для себя сокровище, теперь они почувствуют, что одна милость моя сделала их тем, что они есть; я покажу им, кто господин здесь, и до последней капли крови буду отстаивать мое счастье!

– Ты погубишь себя! – воскликнула Актэ. – Не борись против течения! Не восставай безумно против грозной силы! Нерон, любовь моя, ты в заблуждении! Поверь мне, нельзя в одно мгновение схватить выпущенную из рук узду, и, прежде чем ты схватишь ее, твоя Актэ уже будет смята и раздавлена могучими копытами!

Он бурно схватил ее за талию левой рукой и подняв правую, произнес страшную клятву защищать ее до последнего издыхания.

Крепко прижавшись к нему, она целовала его сладко и нежно, как умела она одна, с застенчивостью девушки и страстью женщины.

– Нерон, что же мне делать? – тихо спросила она. – Скажи! Я буду слепо повиноваться тебе, хотя бы мне пришлось умереть!

– Ты спокойно останешься дома, – улыбнулся Нерон, отвечая на ее поцелуй. – Прикажи верному Фаону запереть на двойные запоры остиум и постикум! Я сейчас же пришлю тебе двенадцать моих телохранителей. Если незнакомец, не слыша твоего ответа, сделается навязчив, прикажи ему убираться. Если и тогда он будет упорствовать, ты велишь его схватить. Еще один поцелуй, Актэ! Как чудно пахнут твои волосы! Нарциссами и розами! О, эти губки! Так ободрись же, обожаемое дитя, мое сладкое сокровище!

– Прощай! – прошептала Актэ. – Прощай, милый!

– Дощечку эту я возьму с собой, – деловым тоном сказал Нерон. – Сегодня же я поговорю с Агриппиной. Она не станет отпираться. Во всяком случае, Палатинум узнает, как поступает Нерон при чем бы то ни было малейшем поползновении коснуться Актэ.

Закинув за плечо тогу, он бросил на возлюбленную последний, бесконечно нежный взгляд и вышел.

– Поспешите! – приказал он своим мускулистым лузитанцам, сидевшим на мраморных плитах между стройными коринфскими колоннами. Мгновенно вскочив, они надели на плечи ремни. Нерон откинулся на подушки.

Фаон стоял возле носилок; сюда же услужливо подбежало несколько рабов и рабынь.

Император бросил им пригоршню золота, кивнул обычным гордым жестом римских вельмож и твердо произнес:

– В Палатинум!

Глава XIV

Носильщики зажгли в остиуме свои роговые фонари; позади шло несколько рабов с узкими, высокими факелами.

Бесконечная Аппианская дорога, которую они достигли, пройдя несколько сот шагов, была окутана молчаливыми сумерками. По небу клубились белые, матовые облака, лишь местами пронизанные лучами месяца. Справа и слева, перед фасадами вилл возвышались памятники – мрачные напоминания о непрочности красоты, мимолетности счастья и тщете земных страстей. Вдалеке, по ту сторону Тибра, виднелись резкие, гордые очертания Яникульской горы, которая одна казалась чем-то реальным и осязаемым в призрачном, поэтическом мерцании этой лунной ночи.

Вступив на Via Sacra, в самом ее начале, носильщики повстречали телохранителей, по приказанию цезаря явившихся сюда в начале первой стражи.

Преторианцы бесшумно последовали за носилками, которые десять минут спустя остановились перед входом в императорский дворец, освещенный факелами.

Сенека, имевший сообщить царю нечто очень важное, поспешил к нему навстречу.

Нерон нетерпеливо отстранил его.

– Все серьезное завтра! Мне еще нужно устроить кое-какие частные забавные дела. Где Октавия? И где императрица-мать?

Сенека величественно завернулся в тогу.

– Супруга императора, – холодно и церемонно отвечал он, – находится, как я осмеливаюсь предполагать, в покоях императрицы-матери. Мой повелитель желает говорить с этими высокими особами? Уже поздно и боюсь, что Агриппина очень утомлена. Только по желанию Октавии, казавшейся сегодня в необычайном волнении, согласилась она бодрствовать дольше, чем обыкновенно.

– Достопочтенный учитель, – произнес разгневанный Нерон, – будь так добр и раз навсегда запомни, что если императору случается иногда заставлять себя ждать, то в этом нет ничего необыкновенного. Доселе это бывало два-три раза, но впредь будет гораздо чаще, причем я не желаю слышать, даже от тебя, которого я так уважаю, никаких неодобрительных намеков. Клянусь Геркулесом, я изумлен, до чего это дошло! Неужели Клавдий Нерон менее свободен, чем сын какого-нибудь выскочки, попавшего в сенат благодаря гнусному золоту?

Из уважения к заслуженному учителю и государственному советнику Нерон произнес свое горячее возражение по-гречески.

– Господин и цезарь, – пробормотал Сенека на том же языке, – прости...

– Оставь теперь твое красноречие, достойный Сенека! Если хочешь обязать меня, то позаботься, чтобы обо мне тотчас же доложили! Я хочу говорить с обеими женщинами вместе.

Поэтому пусть Октавия не пытается исчезнуть в боковую дверь, как это стало ее обыкновением в последнее время, когда супруг входит в покой.

Сенека склонил голову и поспешно прошел через полуосвещенный атриум, крепко сжимая правой рукой несколько сложенных рукописей.

– Жду тебя позже в моем кабинете, – сказал ему император, когда он, совсем растерянный от непривычной для него роли, вернулся, исполнив поручение. – Я взволнован, дорогой учитель, несказанно взволнован. Прости, если я обошелся с тобой резче, чем того требует уважение к твоей увенчанной лаврами голове. Ты знаешь, что случилось?

Сенека пожал плечами.

– Я подозреваю, но смею тебя уверить, что я тут ни при чем. Я знаю, со страстью спорить нельзя, от нее можно требовать только некоторых уступок. То, что сегодня, в день вашего обручения, ты так поздно являешься домой, по моему мнению, переходит границы, которые должны быть уважаемы даже цезарем.

– День нашего обручения! – с искренним изумлением воскликнул Нерон. – Я этого не знал. И она также не сказала ни слова. Все равно! После я спокойно выслушаю твои упрёки, а теперь – до свидания!

И он вошел в женскую половину дворца. Октавия сидела в серебряном кресле, бледная, как восковая статуя, с опущенными глазами, которые она не подняла, даже когда Нерон с испытующим взором остановился посредине комнаты.

Агриппина же с истинно царственной осанкой поднялась с мягкой софы навстречу сыну и только что собиралась заговорить, как Нерон поднес к ее мрачным глазам восковую дощечку и сказал вполголоса:

– Императрица Агриппина, отвечай: что значит это изумительное послание?

Агриппина взглянула на бледное, гордое, благородное лицо своего красавца сына и невольно отступила.

– Мать, – продолжал Нерон, – можешь ли ты отпираться? Я вижу, Октавии все известно, иначе она приветствовала бы меня, вместо того чтобы сидеть, как пригвожденная к своему креслу. Поэтому мы можем спокойно разъяснить все в ее присутствии. Повторяю: кто написал эти строки?

– Я, – отвечала Агриппина, хладнокровно скрестив на груди руки.

– Так позволь тебе заметить, что ты здесь приняла тон, к которому я не привык и которого не желаю слышать.

– Разве это относится к тебе? – насмешливо спросила Агриппина. – Разве я могла предвидеть, что дощечка эта попадет в руки императора?

– Ты не могла, но я благодарю судьбу за то, что так случилось. Бедная девушка, пожалуй, была бы одурачена. Знай же, мать, что твой тайный посол никогда не услышит желанные слова: «Я уеду». Я, император, повелел, чтобы с этим человеком, если бы он вздумал быть нахалом, поступили бы по законам, предоставляющим право самозащиты каждому римскому гражданину и каждому чужестранцу.

– Ты дерзнул...

– Дерзнул, мать, и так как мы уже заговорили об этом, то я обращаюсь и к тебе, Октавия! Уже давно ты моя жена только по названию. Как же может быть оскорбительно тебе, если я отдаю кроткому, очаровательному существу то, чем пренебрегла гордая Октавия, – весь пыл моего жаждущего любви сердца? Все уважение, подобающее твоему сану императрицы оказывается тебе. Мои доверенные ни одним словом не выдают тайны. Без роскоши и блеска вхожу я в скромное жилище, где я могу быть безгранично счастлив, между тем как здесь меня встречают лишь неподвижные статуи, холодная бесчувственность и безутешная пустота. Я не упрёкаю тебя, добрая Октавия! Ты такая, какой создана. Но молю тебя, позволь же и мне быть

таким, каким я создан! Позволь мне любить, в то время как ты сама умеешь только размышлять, исполнять обязанности и повиноваться твоим богам!

– Несчастный! – вскричала императрица-мать между тем, как Октавия отвернулась, не сморгнув. – Это ли награда мне за то, что я сделала для тебя и для твоей будущности?

Схватив его за правую руку, она с бешенством менады увлекла его в отдаленный угол комнаты.

– Думаешь ли ты, – продолжала она шепотом, щадя свою союзницу Октавию, – думаешь ли ты, что я на радость себе вышла за отца Октавии? Клавдий был чудовище, слышишь, чудовище – заумный, полный всевозможных бредней глупец, изобретавший новые буквы, в то время как римляне насмехались над ним, как над игрушкой Мессалины. За этого Клавдия я вышла после ее смерти; я сделалась императрицей с отвращением в сердце и поддерживаемая лишь одной мыслью, что через это мой сын со временем достигнет власти...

– Мать...

– Молчи! Это правда! А потом, что делала я? Целые годы внушала я императору Клавдию мысль об устранении от престола Британника и успокоилась только, когда упрямый цезарь уступил и, обойдя родного сына, объявил своим наследником тебя, своего пасынка!

– Прошу тебя, мать, к чему все это?

– При этом он поставил одно условие: твой брак с его дочерью Октавией. Мы согласились, ибо никогда еще не было дочери столь непохожей на своих родителей. Если она что-нибудь унаследовала от нечестивой Мессалины, то только ее красоту. Во всем же остальном, клянусь Юпитером, в целом Риме нет женщины, равной Октавии по добродетели, благородству и скромности. При этом Клавдий не передал ей ни капли своей глупости. После смерти Клавдия ты мог бы разорвать торжественно совершенное обручение, если бы находил его решительно невыносимым. Теперь же Октавия – твоя жена. Она любит тебя, она отпрыск одного из знатнейших, аристократических родов; короче, ты бесчестишь себя, столь дерзко ее оскорбляя к заводя связь с беглой бесстыдной девкой.

– Твои речи жестоки! – вскричал Нерон, с силой вырывая свою руку. – Благодарю богов за то, что ты мать человека, чье драгоценнейшее сокровище ты так безмерно порочишь!

– Я имею на это право. Или ты можешь оправдаться?

– Да, мать. Одним словом: я не могу жить без Актэ.

– Ты глупец и бездельник. Повторяю, или ты все позабыл – все мои жертвы и усилия, мои неусыпные заботы?..

– Я узнал, однако, что твое рвение прежде всего послужило на твою же пользу. Называться матерью императора, управлять его именем и опекать его самого, как неразумное дитя, вот о чем ты мечтала!

– Кто это говорит? – с негодованием воскликнула она.

– Люди, не умеющие лгать. Я сам примечаю последствия твоих стремлений. Но все равно, ты моя мать и ради этого я все переносил, хотя часто вопреки собственному убеждению. Я подавлял в себе малейшее поползновение к самостоятельности, как только видел, что это неприятно тебе. Теперь же ты вторгаешься с насилием в область, где господствует один Нерон и где его не остановят никакие упреки, никакие соображения.

– Ты говоришь, как безумец.

– Это так кажется, но я прекрасно знаю, чего хочу. Я хочу раз навсегда порвать петлю, которую ты мне накинула гнетом твоей железной воли. Этот гнет довел нас до брака, но он не может заставить нас полюбить друг друга или даже притворяться любящими...

– Мальчик, что все это значит?

– Выбирай, мать! Или ты поклянешься мне Юпитером, карателем клятвопреступников, что ты оставишь в покое мое дорогое сокровище – бывшую рабыню, как ты называешь ее, или сегодня же наступит конец твоему противозаконному вмешательству в государственные дела.

Тогда я не потерплю, чтобы ты рассуждала с Сенекой о будущности рейнских провинций, а с Бурром – о происшествиях в преторианских казармах. У меня есть люди, которые послужат мне в сенате – словом, а на улице – мечом, если дело дойдет до открытой борьбы.

– Вздор! – с притворным равнодушием усмехнулась Агриппина.

Непривычный тон сына заставил ее побледнеть, и ей понадобилось все ее самообладание, чтобы скрыть сильное волнение.

– Прошу еще раз, выбирай! – нетерпеливо повторил Нерон.

Овладев собой, Агриппина нежно погладила его пылающую щеку и с кротким взглядом огорченной матери сказала:

– Как ты волнуешься и произносишь совершенно пустые слова! Что такое Нерон без матери, которая возвела его на престол? Ведь Бурр со своими преторианцами беззаветно, слепо предан мне...

– Что? – вскричал Нерон.

– Беззаветно предан мне! – со спокойной уверенностью повторила она.

Нерон пожал плечами.

– Как ты ошибаешься в римлянах и в гвардии! Пока Нерон считался твоим покорным сыном, все шло прекрасно! Всему Риму ведь известна была моя преданность тебе, и повиноваться тебе, значило повиноваться мне. Но если, – от чего да избавит нас рок, – между нами разверзнется пропасть... слышишь, императрица Агриппина!.. тогда солдаты вспомнят, кому они присягали, тебе или мне!

– Не будем ссориться! – заговорила наконец Октавия. – Я ожидаю здесь не угроз и не цветистых речей, но прямого решения без всяких уверток. Неужели ты не сознаешь ужасного позора, которым ты нас покрываешь? Нерон, император, супруг Октавии, любит простую рабыню...

– Могу тебе признаться, – с горечью и гневом прервал ее император, – что эта простая рабыня умеет то, что недоступно многим весьма высокопоставленным женщинам: она умеет любить, давать счастье...

Октавия была не в силах слушать дальше. Молча встала она и ушла в свою спальню, где бессильно упала на ложе, измученная невыразимыми страданиями последних недель.

– Хорошо, что она ушла, – снова начала Агриппина. – Ее присутствие мешало мне высказаться вполне.

– Ты затрагиваешь мое любопытство.

– Я буду говорить откровенно, без обиняков. Знай, сын мой, что я нахожу твою неверность менее постыдной, чем безграничную бестактность твоего образа действий. Допускаю, что наши предположения относительно доброй Октавии были ошибочны и что, несмотря ни на какие усилия, вас нельзя настроить на один лад. Пожалуй, ищи себе на стороне вознаграждение за эту ошибку, но не превращай мимолетную прихоть в открытую связь. Согласись, что это была настоящая дерзость – твоя публичная прогулка на Марсовом поле с этой... Актэ.

– Мать! – вскричал возмущенный Нерон.

– Дай мне договорить! Скажу больше. Будь это связь с Септимией или другой знатной женщиной, я закрыла бы глаза. Цезарь все-таки – цезарь, и тысячи других людей делают то же самое, без преимуществ императорского сана. Но когда ты играешь эту приторную идиллию с отпущенницей Никодима, поешь ей нежные песни и лежишь у ее ног, представляя из себя посмешище для всех образованных людей, право, это недостойно тебя и, клянусь богами, еще более недостойно меня!

– Мать, если бы ты ее видела, если бы посмотрела на ее глаза, в которых отражается чистая, возвышенная душа, если бы ты слышала ее умные, рассудительные речи...

– Это чистое безумие! – прервала его императрица-мать. – Повторяю: как бы очаровательна она ни была, все-таки ты поступаешь как глупый школьник! «Прекрасный цветок!»

Хорошо, так сорви его, как путник срывает шиповник. «Это забава», сказали бы тогда люди, «приключение в духе Зевса, также спускавшегося иногда с божественного престола, чтобы победить смертную». Ты же, вместо того, устраиваешь своей возлюбленной целый дом, даешь ей рабынь, как будто она привыкла повелевать служанками, мечтаешь только о ее любви, ежедневно осыпашь ее фиалками и розами, словом, ведешь себя как фанатик-жрец Изида перед статуей своей всемогущей богини. Ей, этой тщеславной кукле, конечно, нравится видеть себя внезапно осыпанной богатствами и роскошью...

– Подожди! – остановил ее сын. – Не подвергай сомнению по крайней мере бескорыстие ее любви. Она с радостью поселилась бы под самой убогой кровлей в квартале матросов; это я навязал ей все это, потому что, по-моему, нет ничего в мире достойного ее и потому, что возлюбленная императора должна жить, как императрица...

Речь эта была подсказана Нерону гневом и злым желанием похвастать тем, чего в действительности не было, так как вилла Актэ была хотя прелестна, но не отличалась ни особенной роскошью, ни изящной архитектурой.

– Возлюбленная! – усмехнулась Агриппина.

– Жена, если тебе это больше нравится. Я так смотрю на нее, хотя, к несчастью, обстоятельства препятствуют мне открыто назвать ее моей супругой.

– Мальчик! В уме ли ты!

– Совершенно. И клянусь тебе, что, не будь я связан с Октавией торжественным брачным обрядом, божественная Актэ сделалась бы моей повелительницей и императрицей, вопреки всей знати могущественного Рима.

Агриппина с отчаянием засмеялась и, задыхаясь, начала ходить по комнате, скрестив руки.

– Девка на престоле Августа! – воскликнула она. – Одна эта мысль есть уже государственное преступление, пощечина для твоей матери!

– Успокойся же! Ведь к этому не представляется ни малейшей возможности. Но если бы это случилось, то не спрашивай у меня ответа на вопрос: какая императрица до божественной Актэ заслужила корону больше, чем она, единственная, несравненная!

– Рабыня! – простонала Агриппина.

– Что ты хочешь сказать этим? Или твой ум так помрачен, что не ощущаешь могучего веяния, которое, подобно духовной весенней буре, проникло в мир от Сирии до Лузитании? Или только я стою так высоко, что до меня одного долетело это таинственное, божественное веяние? Недаром учил меня Сенека, что все люди равны по рождению, что различие между знатными и простыми искусственно и что мнимые преимущества знати основаны только на произволе и власти.

Агриппина вскипела.

– С каких пор проповедует Сенека такое безумие?

– Каждый день с тех пор, как я его знаю.

– Так он должен быть устранен. Презренное чудовище! Я считала его учение полезным, пока оно делало из тебя послушного, любящего сына. Теперь же – долой двуличного софиста!

– Мать, – после долгого молчания заговорил Нерон, – если Сенека возбуждает твоё неудовольствие, я отрешу его от должности. Он в достаточной мере философ, чтобы уметь обойтись без Палатинума. Если у тебя есть еще желание: приказывай! Только не жди одного, чтобы я покинул Актэ! Если я замечу хоть малейшее посягательство на нее, я окружу ее собственной германской гвардией.

Агриппина внезапно вздрогнула. Казалось, у нее блеснула мысль, сулившая ей победу.

Несколько времени она стояла с опущенным взором, а потом кротко сказала:

– Скажи мне, дорогой мальчик, говорит ли в тебе упрямство, унаследованное тобой от твоего отца Домиция Аэнобарба, или ты действительно любишь девушку?

– Я люблю ее больше всего в мире.

– Ну, так люби ее! Но прошу, держи свою любовь в тайне! Я попытаюсь утешить несчастную Октавию.

– Мать, ты делаешь меня счастливым! – пылко вскричал Нерон и, бросившись к ней на шею, покрыв поцелуями ее лихорадочно пылавшие щеки.

– Неразумное дитя, – нежно произнесла она. – Но не воображай, что я одобряю то, на что соглашаюсь только по излишней слабости. Я рассчитываю – и это мое единственное утешение, – что время образумит тебя!

– Рассчитывай на что хочешь, и желаю тебе приятных сновидений! Я страшно измучен. Спокойной ночи!

Нерон ушел, сияющий счастьем. В атриуме уже ожидали рабы, обязанные проводить его в спальню.

– Глупый мальчик! – прошептала Агриппина, когда занавес спустился за императором. – Ты хочешь повелевать мной? Какой гнев сверкал в его глазах, когда он угрожал мне! Но благодарение богам: приняты все меры для того, чтобы поток не затопил горы!

Глава XV

Агриппина поспешила в слабоосвещенную спальню Октавии.

Молодая женщина, рыдая, лежала на постели.

– Не плачь! – строго и в то же время с состраданием сказала императрица-мать. – Если бы ты была умнее сначала, легкокрылая птичка не вырвалась бы от тебя. Я даже не считаю женщиной молодую красавицу, не сумевшую привязать к себе человека, уже раз принадлежавшего ей.

Медленно приподняв заплаканное лицо, Октавия зашевелила губами, как бы пытаясь возразить.

– Оставь! – прервала ее Агриппина. – Я пришла не затем, чтобы упрекать или осуждать тебя. Да это и ни к чему и не повело бы. Напротив того, я говорю тебе, что скоро ты восторжествуешь над соперницей.

– Восторжествую? – с боязливым сомнением повторила Октавия.

– Да. Я решилась. Он высокомерно объявил мне, что одна смерть может порвать его связь с Актэ. Вот об этой-то смерти я и похлопочу.

Октавия, дрожа, закрыла лицо.

– Не тревожься! – успокоила ее Агриппина. – Этого требуют нравственность, добродетель, блеск цезарского достоинства. Мы находимся в положении личной обороны; тут позволительны всякие средства. Разве прославленный историей патриот Муций Сцевола не прокрался тайно, как наемный убийца, в шатер Порсены? Разве Брут не умертвил своих сыновей ради величия своей родины и консульства? Престол же императора выше и блестящее всего остального в мире. Словом, даю ему три недели сроку. Если до тех пор он не прогонит свою любовницу, то участь ее решена. Я прикажу умертвить ее.

– Ради всемогущего Юпитера, – с ужасом вскочив, вскричала Октавия. – Ты не сделаешь этого, ты, мать императора!

– Почему нет?

– Потому что... потому что...

– Есть предел, – сказала Агриппина, – за которым доброта становится нелепостью. Когда я попаду на суд истории, многие из моих деяний будут осуждены, потому что большинство жалких заурядных людей будущего не сумеют понять меня и возвышенные причины моих поступков. Все это для меня вздор и безделица; одно только может привести меня в бешенство: показаться смешной. Теперь я представительница закона и чести императорского дома, и мне, как

главе семейства, подобает беречь древнюю славу его и уничтожить виновную, запятнавшую этот блеск.

Октавия подошла к ней.

– Дорогая мать, – трогательно сказала она, – мне меньше всех пристало защищать эту виновную. Но совесть шепчет мне: одна лишь горесть о моей навеки потерянной любви делает меня такой непреклонной в осуждении ее; поступок же твой все-таки будет убийством!

– Называй, как хочешь! Но если ко мне в дом забирается вор, чтобы украсть мои сокровища, я имею право убить его.

– Мать, – зарыдала Октавия, – Актэ ведь не похитила у меня его любви, потому что сокровище это никогда не принадлежало мне. Я ежедневно на коленях благодарила бы богов, принося им жертвы и дары до последнего динария, если бы после многолетних стараний мне удалось овладеть его сердцем, хотя бы на одну лишь мимолетную неделю! Но я не хочу грубого, сухого насилия, мать. Это ожесточит его еще больше; он сочтет меня виновницей его утраты и возненавидит меня, тогда как теперь он только равнодушен ко мне.

– Не опасайся этого! – возразила Агриппина. – Увенчанному императорским венком легко пережить всякое преходящее горе. Если он действительно ее любит, то, оплакав ее, он тем сильнее почувствует потребность восполнить свою потерю. Тогда ты должна быть прекрасной, нежной и обратить в свою пользу некоторые не совсем загасшие воспоминания. Пусть сначала он воображает, что обнимает в твоём лице свою «божественную», как он зовет ее. Ты с ней почти одинакового роста, и его пылкая фантазия легко поддастся обману, пока наконец он научится любить действительность. Тебя же он положительно не может заподозрить в покушении на Актэ. Он знает, как ты считаешь богов, как ты робка и скромна. В худшем случае я прямо скажу ему: «Я, твоя мать, освободила тебя от Актэ. Мизинец Октавии прекраснее нежели вся твоя погибшая возлюбленная. Сойдитесь и постарайтесь поскорее подарить свету наследника престола! Я не стану сердиться за неприятный титул бабушки, который для Агриппины почти равносителен брани!» Теперь спи, Октавия! Ты, наверное, устала не меньше меня.

– Нет, нет, я не отпущу тебя! – вскричала Октавия, останавливая уходившую Агриппину. – О, ты не знаешь его! Не думай, что с ним так легко справиться! Если он ее действительно любит – как я того опасуюсь, – то ради нее он вступит в борьбу со всеми земными силами. А если ты тайно уничтожишь ту, которую он боготворит, то... да смилуется над всеми нами милосердный Юпитер! Он сотрет в прах меня, тебя и весь Рим в безмерности своей муки. В короткое время, пока он был моим супругом, я успела подметить всю страшную глубину его страстей. Душа его полна самых разнообразных чувств: в ней живут рядом гении добра и зла, счастье и несчастье, божество и всеразрушающее чудовище. Я была бы блаженнейшей из жен, если бы судьба позволила мне развить и укрепить в нем все возвышенное и благородное и навсегда задушить демонов тьмы. Боги, по неисповедимому приговору, отказали мне в этом; Актэ же, как видно, это удалось. Оставь же мне мою жестокую горесть, если только он счастлив и если семена бессмертных деяний процветают в его душе.

Агриппина смотрела на нее тупым, непонимающим взглядом, как будто Октавия говорила на сарматском или готском языке.

– Я не понимаю тебя, – с отчаянием пожав плечами, сказала она наконец.

– Если бы ты любила его столько, сколько я, ты поняла бы меня. Ты тотчас бы заставила его замолчать, увела бы его под каким-нибудь предлогом и избавила бы меня от этой муки. О, что я выстрадала! Какое мученье было слышать, как он сухо и повелительно допрашивал тебя, пренебрегая мной, его женой, до такой степени, что в моем присутствии защищал свою возлюбленную!

– Ну вот видишь сама, как она вредит тебе, эта отвратительная змея! Вот это-то я и хочу устранить! Право, ты так расстроена...

– Нет. Мои мысли ясны... То, что я сейчас сказала, был только вопль, невольно вырвавшийся из моего измученного сердца. Актэ терзает меня до безумия, но все-таки ты не должна убивать ее! Поклянись мне в этом тем, что для тебя священнее всего! Иначе я не буду знать покоя! Иначе я сию же минуту пойду к нему и выдам ему твоё намерение!

В чертах императрицы-матери выразилось безграничное негодование.

– У тебя натура рабыни, – с гневом воскликнула она. – Кто, подобно нищему, бросается на пыльную дорогу, не должен удивляться, если его затопчут.

– Я иду к нему, – прошептала Октавия, протягивая руку к накидке.

– Хорошо, – мрачно произнесла Агриппина, увидав, что она решилась, – я поклянусь тебе...

– Священнейшим и высшим на небе и на земле! – подсказала Октавия.

– Моей властью над миром! – поправила ее Агриппина с величавым движением. – Той, о которой ты просишь, не будет сделано никакого вреда. Но я надеюсь, ты согласишься на то, чтобы я употребила все силы для расторжения этой связи каким-нибудь способом. Если ты так равнодушна к самой себе, прекрасно! Для меня же, для матери императора, это – поношение, и я буду действовать, как мне подскажет мое достоинство.

И она ушла не простившись.

Сирийский ковер медленно заколыхался над дверью.

Смертельно измученная Октавия бросилась на колени и начала молиться.

– Милосердная мать вселенной, – шептали ее дрожащие губы, – покровительница женщин Юнона, сжался надо мной! Я любила его всеми силами души с самого начала и с мучительным самообладанием оставалась нема и холодна, желая убить надежду в моем боязливо бившемся сердце. А потом наступил короткий блаженный сон, когда мне каждое мгновение хотелось крикнуть: «Не верь моей холодности! Ведь я почти умираю от горячей невыразимой любви! Ведь только оттого, что мне стыдно моих долгих сомнений, только оттого блаженно мое замирающее сердце, оно точно придавлено свинцовым бременем!» Быть может, если бы я высказала тогда все, что кипело в моей груди... Ужасная мысль!

Она опустила голову и ее роскошные светло-каштановые волосы волной рассыпались по прекрасным плечам.

– Милосердая Юнона, – молилась она, – прости меня, если в своей глупой неловкости я сделала ошибку! Сжался надо мной! Исцели мое смертельно раненное сердце от всепожирающей любви, потуши ее, как ветерок тушит свечу, или дай мне силу вернуть ко мне моего Клавдия Нерона! Я не могу выносить этого дольше. Каждую ночь орошаю я слезами мое одинокое ложе, а чуть забрезжится день, я спрашиваю себя: что мне в этом новом сияющем дне, если он ничего не изменит? Умилосердись надо мной, избавь меня от моей грызущей тоски, и я буду до конца жизни прославлять тебя!

Она встала, немного утешенная.

– Сила природы! – как бы во сне прошептала она. – Что рассказывал он мне о силе природы и ее таинственных целях? Юпитер не разражается громами и Амур не пускает стрел, но все-таки, во всех вещах скрывается божество, а любовь самое могущественное и действительное из божеств. Когда мужчина и женщина воспламеняются взаимной страстью, это происходит во имя скрытого всемогущего духа и для выполнения его непостижимых целей...

Она потерла себе лоб.

– Да, да, он говорил так, или похоже на это... Мужчина любит в обожаемой женщине будущее дитя и оттого – хотя он только смутно это чувствует – он с таким горячим упорством привязывается к той, которая обещает ему красивейшего и совершеннейшего ребенка...

Она закрыла руками зардевшееся лицо.

– Горе, горе мне! – продолжала она. – Если бы я могла теперь подать ему надежду, что он сделается отцом, что у него будет ребенок, похожий на него, да, тогда... Нет, – после короткой

паузы вскричала она, – мой ребенок никогда не удовлетворил бы его. Это не было бы дитя его мечтаний. Но если бы Актэ... О, я несчастнейшая из женщин!

Совершенно изнеможенная, она опустилась в кресло.

Через некоторое время в дверь спальни двукратно постучались, и на отзыв Октавии вошли Филлис и отпущенница Рабония.

Пожилая Рабония бросила на Октавию вопросительный взгляд, на который императрица ответила легким наклоном головы. Отпущенница ловко и тихо сняла с Октавии одежду, между тем как Филлис развязывала ей сандалии, снимала браслеты и вынимала из густых волос золотые шпильки. Рабония свила ее волосы узлом и не могла удержаться, чтобы не выразить восхищения перед несравненной красотой душистых прядей.

– Ты хочешь порадовать меня твоей невинной лестью? – сказала молодая императрица. – Благодарю тебя за доброе намерение.

После того как Октавия приняла обычную ванну в соседней комнате, Филлис удалилась с церемонным поклоном. Рабония же, уложив свою прекрасную повелительницу в постель, сама легла перед ее ложем на разостланный ковер.

Голубоватая лампа разливала печальный свет на бледные черты страдальцы, от закрытых глаз которой еще долго бежал сон, между тем как Рабония давно уже заснула.

Часть вторая

Глава I

Две недели спустя в рабочем кабинете Флавия Сцевина сидели шесть человек, погруженные в тихую беседу. Это были: хозяин дома, его супруга Метелла, Бареа Сораний, Тразеа Пэт, богатая египтянка Эпихарис и государственный советник Анней Сенека.

Из-за своего упорного противодействия каким бы то ни было насильственным мерам против юной возлюбленной императора Сенека окончательно потерял расположение императрицы-матери, которая употребила все старания, чтобы лишить его влиятельного положения при дворе.

Вопреки своей теории о всемогуществе стремлений природы, выражавшемся в любви тем решительнее, чем упорнее казалась привязанность, Сенека считал страсть цезаря преходящим увлечением, которое в конце концов минует без вреда для духовного развития Нерона, если его оставят в покое; в противном же случае можно было ожидать самых неприятных последствий.

Агриппина пока еще опасалась прибегнуть к крайности и, обойдясь без Сенеки, привести в исполнение свои планы по собственному усмотрению, ибо сдержанное, безупречно благородное поведение Нерона после тяжелого объяснения, так же как весьма скромное поведение Актэ внушали ей известную долю уважения.

Слова нечастной Октавии, быть может, также не были забыты ею.

Тем не менее государственный советник считал, что близится время, когда возможно будет наконец сломить высокомерие Агриппины.

– Друзья, – говорил своим душевным голосом Тразеа Пэт, – по моему мнению, если нельзя немедленно уговорить Нерона на решительный поступок, то мы должны действовать самостоятельно, хотя и с величайшей снисходительностью. Безбожное нападение на Флавия Сцевина в его саду доказало нам, что убийца императора Клавдия и Британника не избежала своего позорного коварства. Если Анней Сенека, с самого начала знавший об этих преступлениях, до сих пор еще не устранил злодейку, то единственно лишь из уважения к почтительному сыну, не подозревавшему о святотатственных деяниях своей матери. Но Нерон, по-видимому, все больше и больше отдаляется от государственных занятий. Агриппина фактически остается единоличной правительницей и, вместе с немногими разумными мерами, она прибегает к отвратительнейшему произволу всюду, где это ей представляется выгодным.

– Это правда! – вскричали вместе Метелла и египтянка Эпихарис.

– В особенности же, – продолжал Тразеа Пэт, – возмутило меня позорное покушение на Флавия Сцевина. Я промолчал, как я молчу повсюду, где слова преждевременны. Но мне тотчас же стало ясно, что таинственный удар кинжалом был ответом Агриппины на патриотический тост нашего превосходного друга. Много недель пролежал Флавий Сцевин на одре болезни. Теперь он здоров благодаря искусству его честного Полихимния. С согласия Флавия, я пригласил вас сюда, ибо мне кажется, что долг дружбы, равно как и любовь к родине, предписывают нам взглянуть прямо в лицо тягостному положению.

– Ты не сомневаешься относительно виновного лица? – обратился к нему Бареа Сораний.

– Весь свет шепчет, что преступница – Агриппина.

– А где доказательства? Я ненавижу презренную женщину, но я друг справедливости. И речь твоя недостаточно меня убеждает.

– Почему? – спросил Пэт.

– Я понимаю причины, побудившие Агриппину избавиться от императора Клавдия. Он лично был ей противен, вечно надоедал ей своей ученостью, и если действительно он умер, поев отравленных грибов, то я готов поверить, будто она сказала при этом: «Грибы – кушанье, превращающее людей в богов». Все это мне понятно, хотя я считаю это низким и гадким. Потом она влила отравленную воду в вино благородного Британника. И здесь я должен допустить целесообразность ее побуждений, основанных на честолюбии бессовестной женщины. Но я не могу постигнуть причин, заставивших ее немедленно посягнуть на жизнь Флавия Сцевина из-за нескольких слов, в сущности, бывших лишь намеком цезарю на то, что он больше не дитя. Нельзя же стрелять в птиц из метательных снарядов.

Наступила пауза.

– Пэт, – снова заговорил Флавий Сцевин, – ты еще раньше делал мне разные намеки, но врачи не позволяли нам беседовать прежде, чем я поправлюсь совсем. Я полагаю, что тебе известно больше, чем подозревает Бареа Сораний. Так говори же теперь откровенно, для того, чтобы друзья наши, а в особенности государственный советник, узнали все, без утайки.

– Охотно, – возразил Пэт. – Я уже хотел это сделать, когда меня остановил красноречиво подчеркнутый скептицизм друга Бареа. Сенека не удивится, так как он знает нравы императрицы и ее необузданно кичливый характер.

– Действительно, – подтвердил Сенека, – ее дерзость с каждым днем становится все более угрожающей. Я простил ей прошлое ради Нерона и потому, что считаю приличным для истинного философа быть строгим к самому себе и снисходительным к другим. Однако пришла пора преградить бурный поток, иначе он зальет всю страну своими дымящимися красными волнами.

– Вот до чего мы дошли с нашими надеждами! – вздохнул Флавий Сцевин. – Мы дошли до этого под скипетром кроткого, человечного Нерона, страстного поклонника искусств, восторженного друга природы, обладающего лишь одним недостатком – слишком горячо привязываться ко всему, что его вдохновляет.

– Мы заходим в постороннюю область, – заметил мрачный Бареа. – Пэт хотел сообщить нам свои наблюдения.

– Итак, мой дорогой Флавий Сцевин, – начал Тразеа, – преступление, совершенное над тобой императрицей-матерью, было лишь наполовину политическое и, как таковое, оно оказалось крайне безрассудным и преждевременным, ибо оно заставило каждого из нас спокойно и уверенно смотреть в глаза висящей над нашими головами опасности и с двойной энергией приступить к осуществлению наших планов. Из твоего тоста она поняла, что и ты, которого она считала наполовину обращенным, будешь камнем в стене, воздвигаемой против нее древним, непобедимым римским духом. В припадке внезапного раздражения она могла решиться устранить тебя, и как можно скорее. Но раздражение это не было бы столь безмерно, если бы Ото, которому несколько дней тому назад она тайно предлагала свою благосклонность, но не добилась ничего, кроме вежливых уверток (это мне рассказала Пoppея), не улыбнулся с таким удовольствием при этом тосте. Это произвело взрыв.

– Но кто же знает, чему он улыбнулся? – прервал его Бареа. – Быть может, красивым формам своей жены или бесстыдной рожице Ацерронии.

– Не горячись, достойный Сораний, – продолжал Пэт. – Все равно, чему бы ни улыбнулся Ото. Факт тот, что он улыбнулся, что императрица заметила его улыбку и отнесла ее к своему затруднительному положению. Я прекрасно видел, как она побледнела при этой, столь многократно упоминаемой улыбке, между тем как Флавий уже давно произнес свои самые резкие слова. В ней вскипел гнев отвергнутой, жаждущей любви женщины. Она хотела показать Ото, от которого она все-таки не отказалась, что выпадает на долю дерзкому наглецу, осмеливающемуся оскорблять прекраснейшую женщину Рима, какой она себя считает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.